С. Бройде

В плену у белополяков

С. БРОЙДЕ

В ПЛЕНУ У БЕЛОПОЛЯКОВ

Московское Товарищество Писателей

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2000
Третье издание

М
Б

С.С.С.Р.
ИНСТИТУТ
К. Маркса и Ф. Энгельса
Ц. И. К.

30 7740
34

Отв. Редактор Г. Шульц *Техн. редактор М. Чуванов*
Художник Б. Рыбченков

Сдано в набор 1/VI 33 г. *Подписано к печати 20/VI 33 г.*
Печ. лист. 16. *Печ. зн. в 1 п. д. 28225.* *Мособлит № 26122.*
Заказ № 4472. *Тираж 10.000 экз.*

Гос. тип. „Лен. Правда". Ленинград, Социалистическая, 14.
1933 *МТП 333/67*

В ПЛЕНУ У БЕЛОПОЛЯКОВ

Посвящается А. А. Нуринову

От автора

Солнце не дает поезду обогнать себя. Оно бесстрастно выжигает все углы нашего вагона и пламенеющим спектром своих лучей расстреливает в упор спутника по купе.

Я осторожно слежу за борьбой человека с солнцем. Человек перехватывает мой взгляд, с отчаянием бросает очки на подушку и просит позволения снять сорочку.

Синие ленточки почти правильными, параллельными рядами тянутся по его плечам, чуть слабее выделяясь на кистях рук.

Строю загадки: корабль стоял в экзотическом порту. Молодой матрос решил не отставать от своих старших товарищей и от прочно установившихся традиций, он терпеливо перенес операцию превращения в зебру, которую над ним проделал туземный художник, вооруженный иглой и краской.

Круглая голова моего соседа с русыми, чуть тронутыми сединой волосами плотно прижата к подушке, его глубоко сидящие глаза разглядывают меня испытующе из-под навеса густых рыжеватых бровей.

Он как-будто конфузится за свою, не совсем обычную, полосатость, но в глазах его прячется лукавая усмешка.

Не сдерживаюсь и подаю реплику:

— Эк вы себя разукрасили!

— Гм... — улыбаясь, произносит спутник.

— В Полинезии? — продолжаю я.

— Ближе, — улыбается спутник.

— Но не на Рижском же взморьи живут папуасы? — язвлю я.

— Пожалуй, угадали, именно вблизи этих мест.

Он спокойно встает со скамьи, приводит в порядок свои вещи и вновь ложится в непринужденной позе человека, принимающего солнечную ванну.

В свою очередь закрываюсь газетой, но стоит лишь взглянуть на спутника, как встречаю его иронический улыбку, которую тот уже не старается скрыть.

— Любопытная работенка, правда?—спрашивает он.

— Да, но любопытно узнать, где вас так обработали?

Спутник лукаво и молча усмехается.

Раскаленный шар солнца медленно уползает за синеющую вдали цепочку гор. Пышно колосятся июльские хлеба. В раскрытые окна вагона врываются степные запахи и вместе с ними освежающее дыхание необозримых кубанских просторов. Разбрасывая золотые искры и клочковатые клубы дыма, устало пофыркивая, паровоз замедляет ход, приближаясь к крупной узловой станции.

На лице спутника грустная озабоченность.

— Вы бы, товарищ, за кипятком сходили. Неохота одеваться.

В его мягкой сконфуженной улыбке проскальзывает опасение, как бы я не отказался.

Торопливо беру со стола чайник и бегу в отдаленный угол перрона, где уже выстраивается очередь нервно несущихся поездных жителей.

Когда я, обжигая пальцы, возвращаюсь в купе, в нем уже наведен образцовый порядок. Мой сосед, облаченный в сорочку, делает последние приготовления к чаепитию. Его плотная коренастая фигура

налита спокойствием и уверенностью. Взгляд стал более строгим и сосредоточенным.

Молча завариваем чай и начинаем беседу.

— В вас сильны еще романтические бредни. Вам все мерещится, что в пустынных дебрях Африки живут жестокие охотники за скальпами и что я жертва их сурового искусства. Вы ошиблись, это не татуировка. Это следы многочисленных ударов, нанесенных мне «культурными людьми», предки которых считались самыми галантными рыцарями Европы.

Я чувствую, как краска заливает мое лицо до кончиков ушей. Мне становится неловко за себя, за свои легковесные и пошлые помыслы о фанфаронистом матросе дальнего плавания.

— Изо дня в день нас, красноармейцев, нещадно избивали. Я—один из немногих, оставшихся в живых и на своей спине запечатлевших незабываемые следы классовой расправы над безоружным пленником. Уже десять лет прошло с тех пор, утекло, как говорится, много воды, но память цепко хранит мельчайшие подробности, связанные с моим пребыванием в этих экзотических краях, где шомпольная практика стала одним из методов государственного управления.

Он нервно закуривает папироску, делает глубокую затяжку и на минуту погружается в воспоминания. Сурово-скорбная складка проступает у его плотно сомкнутых губ.

Преодолевая волнение он начинает, как бы нехотя, выталкивать из себя слова, из которых постепенно слагается зыбкая ткань длинного повествования, жутко впечатляемого по своей драматической насыщенности.

Его речь без всякой аффектации, отмеченная короткими паузами, начинает звучать увереннее и спокойнее, как будто человек рассказывает о событиях, происходивших в доисторические времена, и

даже не с ним, а с его отдаленными предками.

Ночь, утыканная равнодушными звездами, уже пробралась в наше купе, в котором мы сидим, не зажигая света.

Поезд глотает версты, с грохотом проносясь над мостами, обгоняя водокачки и мирно дремлющие в зелени станции, выплескивающие на секунду отдаленную музыку людского корабля.

Часы проходят незаметно.

В вагоне уже давно воцарилась тишина, изредка прерываемая беспокойными всхрапываниями соседей, когда мой спутник, закончив потрясающий рассказ о своем пребывании в плену у белополяков, устало произнес:

— А теперь пора спать. На сегодня хватит.

1. В Вильнском госпитале

Причудливые, непонятные слова зарождаются в отдаленных извилинах мозга и там же умирают, не прозвучав.

Короткие просветы, мертвящее чувство непонятности, и снова провал в бездну.

Ни неба, ни земли.

Я мчусь, и на пути—ничего, что могло бы задержать этот безумный бег.

Я соображаю... Это атака... Это не тени рядом, это бойцы.

Я слышу храп взмыленных лошадей и отрывистую команду начальника. У кого-то слетела папаха и мчится рядом с нами.

Я должен настичь ее: это не папаха, это враг.

Я крепче сжимаю шашку—и вдруг все проваливается.

Ни бойцов, ни лошадей, ни папахи...

Рука больше не сжимает шашки.

Вокруг никого...

Но никакими усилиями мне не удается ослабить бег. Меня бросили и товарищи-бойцы и командир.

Я не сомневаюсь, что на дне бездны острые камни, и они разорвут в клочья мое тело.

Сколько времени продолжается этот стремительных полет? Минута, века?..

Я не знаю...

Сильно ударяюсь о что-то твердое...

Мне холодно. Я лежу в грязи. Все мое тело, все поры насквозь пропитаны грязью. Липкая, холодная, она пластами накатывается на грудь. Я задыхаюсь...

Хочется выть от тоски, громко вопить о спасении. Но из горла судорожно выталкиваются короткие лающие стоны.

Я пугаюсь их и умолкаю.

Черной тушью залито небо. Окружающие предметы принимают фантастические очертания. Безгласно и немо вокруг. Воспаленными глазами впиваюсь во мрак и начинаю явственно различать рядом с собой чьи-то до боли знакомые черты.

Кому может принадлежать это поросшее жесткой щетиной и залепленное бурой грязью лицо?

Странное оно и страшное. Я пытаюсь подняться, но острая боль иглой прошивает меня насквозь, и я остаюсь прикованным к месту.

— Может быть, ты враг, — повернись ко мне, я не боюсь тебя... Быть может, ты друг,—помоги...

Мои неслышно шевелящиеся губы не в состоянии произнести ни одного звука.

Неподвижная чернота ночи постепенно раздвигается. Я снова пытаюсь распознать лицо соседа. Мое внимание отвлекают вещи такие знакомые и вместе с тем простые, как штык или солдатский котелок.

Внезапная догадка молнией прорезает сознание: ведь это мертвая голова калмыка, а рядом с ней его великолепная черная папаха.

Мне больно. Больней, чем от ран...

Федька, ты нашел свое последнее пристанище в этом болоте!

Твоя несравненная папаха, украшение нашего эскадрона, больше не будет взвиваться над твоим непокорным чубом. Ты ею дорожил и гордился больше, чем своим вороным конем.

Когда, бывало, после сорокаверстных утомительных переходов мы на лету занимали сонные польские городишки, ты торопливо прилаживал к папахе пышный красный бант, горделиво озираясь по сторонам.

Ты победоносно прошел с нею Голодную степь, вместе с нею отыгрывался в кубанских плавнях, уберег от беспризорных на Воронежском вокзале и, простреленную петлюровскими гайдамаками в Киеве, сумел донести ее до места своего вечного успокоения на этом загаженном клочке земли.

Федька, я не хочу здесь лежать. Мне необходимо встать, не допустить поругания над твоим бездыханным телом. Ты был честным бойцом революции. Тебя надлежит схоронить с воинскими почестями и над могилой твоей насыпать высокий холм.

Бесшумно распластав крылья, черный ворон осторожно направляет свой клюв на твои остекленевшие, широко раскрытые, как бы недоумевающие глаза.

Я безуспешно пытаюсь отогнать его, взмахиваю рукой и, потеряв точку опоры, начинаю повторять головокружительный полет в бездну, вцепившись в теплый и влажный каракуль папахи. Кто-то старается отобрать ее у меня.

Ко мне возвращается дар речи, я слышу свой резкий пронзительный крик.

Чей-то ровный и спокойный голос роняет:

— Не троньте, пусть держит.

Открываю глаза—передо мной чье-то худое с бородкой лицо, а я крепко держу ногу, стянутую сапогом.

Рядом — койки, на них люди, покрытые чем-то белым. По стенам ползают тревожные блики одинокого фонаря.

Я в больнице... Я болен...

Значит, все это было бредом: и безумный полет, и Федька, и жуткий ворон... Я был без сознания, во власти кошмара.

Я среди живых. Скорее бы забыться и заснуть.

И, впадая в длительное забытье, я слышу тот же голос:

— Пусть спит.

Просыпаюсь.

Больничный быт разворачивается передо мной во всем его многообразии. Некоторые больные свободно передвигаются по комнате, подсаживаются к соседям, перекидываются с ними шутками, затевают игру в шашки. Они являются олицетворением жизни, цветущей рядом за стенами госпиталя. Часто товарищи предоставлены самим себе; они либо неподвижно лежат, устремив равнодушно-усталый взгляд в пространство, либо заняты чтением газет и книг.

На меня, пялящего на всех глаза, никто не обращает внимания. А мне ведь страстно хочется поговорить, облегчить душу, встретить теплое участие.

Мне становится нестерпимо жаль самого себя. Слезы непроизвольно скатываются мелкими горошинами вдоль щек, и одинокие капельки задерживаются на кончике носа. Чья-то рука заботливо утирает их полотенцем, поправляет сбившуюся подушку и на минуту задерживается на моем увлажненном лбу.

Я не могу пошевелиться, мои руки отказываются мне повиноваться.

Я ловлю губами руку — шершавую, теплую, пропитанную больничными запахами, руку сестры и впиваюсь в нее долгим благодарным поцелуем.

Сестра сконфуженно, не отнимая ее сразу, с напускной строгостью говорит:

— Стыдно бойцу нюни распускать. Нехорошо, братишка. Лежи спокойно, здоров будешь.

А у самой глаза согреты теплынью, той самой, которую доводилось мне в далеком детстве встречать у матери.

— Где я?

— В пятом Виленском госпитале. Уже две недели с тобой возимся. Говорю тебе, помалкивай, набирайся сил. На вот, выпей и ложидайся прихода доктора.

Гул голосов в палате подобен рокоту волн. Можно думать обо всем сразу или вовсе ни о чем.

Пытаюсь восстановить в памяти обстоятельства, приведшие меня сюда, на эту койку.

Из неясных отрывков, из случайно подвернувшихся деталей я извлекаю зрительный образ, почему-то с особой отчетливостью запечатлевшийся в мозгу.

Местечко Вамишули... Высокая, сложенная из кирпичей ограда. Врезавшаяся в голубое небо красная труба винокуренного завода с датой его основания... Кажется, 1913 год... Причудливая готика старинного белого костела... С его колокольни непрерывно доносится дробная пулеметная чечетка... Пули назойливыми шмелями кружатся вокруг...

Жарко... Перед глазами плывут синие, оранжевые, зеленые круги...

Заводская труба начинает зловеще раздуваться. Из ее пасти вырываются огненные клубы дыма и громоподобные ухающие раскаты. Это — вулкан.

И нет спасения кружевному костелу. Громадными рафинадными осколками рассыпается его храмина. Вулканоподобная труба рассекает горизонт.

Голубое небо облачается в траурно-пыльную сутану вамишульского ксендза, расстрелянного накануне за шпионаж...

Дальше ничего не могу припомнить. От напряжения кровь начинает усиленно стучать в висках.

«Та-та-та...» — отстукивает пулемет где-то совсем близко.

Неужели мой бред продолжается?

Я пробую поворачивать голову во все стороны. И меня сразу поражает какая-то настороженная тишина. Все заняты только собой, своими мыслями и деловито-озабоченно прислушиваются к доносящимся звукам.

Значит — это явь. И костелы, и красная труба, и ксендз — отголоски прошлого, не рассеянный бред.

Здесь—выздоравливающие бойцы, и я между ними. А за слегка дребезжащими стеклами — фронт с привычной музыкой пулеметов и пушек, которая приближается все ближе и ближе.

Тревога охватывает всех находящихся в палате. Бородатый сосед с лицом владимирского богомаза, так не гармонирующим с несколько легкомысленным рисунком, вытатуированным на левой руке, порывисто наклоняется в мою сторону и приглушенно говорит:

— Подходят, сукины дети. Значит, нам—крышка.

И, не дожидаясь моего ответа, обращается к другому с такой же репликой.

В палату торопливо входит слегка бледная сестра и произносит нарочито спокойным голосом:

— Товарищи, без паники. В двадцати верстах от города появился драгунский отряд. Его отобьют сегодня же. На то война...

Все как-то облегченно вздыхают. Бородатый сосед открывает прения. Говорят одновременно несколько человек.

Я силюсь вникнуть в смысл их речей, но чувствую, что смертельно устал. С трудом проглатываю несколько ложек молока и засыпаю в тот момент, когда врач отсчитывает удары моего пульса.

На этом кончается первый день моего пребывания в лазарете.

Я проснулся от непонятно щемящего беспокойства, которое не покидало меня даже во сне.

Серая предрассветная муть просачивалась в палату, освещенную единственной дежурной лампочкой. Никто не спал. Орудийный гул сотрясал стены госпиталя, ни на минуту не умолкала дробь пулеметов, находившихся, очевидно, где-то вблизи нашего здания.

У больных были бледносерые встревоженные лица.

Санитары, не считая нужным скрывать от нас истину, толпились одетыми в коридорах и оживленно комментировали происходящее. Даже появление страшного врага в такое неурочное время не вызывало среди них порядка.

Доктор торопливо приступил к осмотру выздоравливающих. Все, способные хотя бы на костылях покинуть госпиталь, немедленно направлялись в цейхгауз за своей одеждой.

Поровнявшись с моей койкой, доктор прощупал пульс и, стараясь быть спокойным, сказал сочувственно:

— Ну вот и молодец. Скоро опять воевать будешь.

Для меня стало ясно, что я и те, кто не могут передвигаться, обрекаются на произвол судьбы.

В этом не было ничего необычного. Шла война, а на войне такие ситуации не только возможны, но и законны.

Мое сознание, только вчера ко мне вернувшееся, отчетливо воспроизвело весь ужас надвигающейся опасности.

Больные тем временем спешно ликвидировали могущие их скомпрометировать документы и литературу.

Бородач со сдвинутыми бровями протянул мне замусоленное письмо и коротко сказал:

— Почитай мне, братишка, может, нельзя оставлять.

Письмо по всей видимости было давнишнее. Начиналось оно с перечисления имен всех бойцов эскадрона, посылавших земляку «низкий привет». Помимо новостей общего порядка, в нем сообщалось, что «Дмитрий Пантелеймович ведут себя сурьезно, как полагается рабоче-крестьянскому бойцу. Намедни на Мирона Васильича из Тихорецкой с шашкой полезли за оскорбление Красной. Мирон Васильич на людях громогласно сказали, что не выстоять нашим супротив мериканцев, потому как у них все на еропланах ездиют, ровно в станице верхом. Шашку у них Мирон Васильич отобрали и маленько по затылку стукнули, чтобы не лезли на старших, одначе велели доглядеть за Дмитрий Пантелеймовичем, потому боец из него первый сорт выйдет—даром что молод».

Адресат слушал внимательно, хотя содержание прочитанного он знал, по всей вероятности, наизусть.

— Дмитрий Пантелеймович, Митька—это сынок мой. В армию за мной увязался. А годков ему, поди, и счас не боле шешнадцати наберется.

Он отвернулся, чтобы смахнуть непрошенную слезу, и стал рвать письмо на мелкие клочья.

К полудню канонада затихла. Солнечные зайчики весело прыгали по белым, окрашенным в масляную краску стенам. Гроздья акации висели над окнами, закрытыми и плотно занавешенными простынями.

Многих из обслуживающего персонала не было видно.

Неожиданно в палате появился один из врачей, очевидно, не успевший эвакуироваться. Лицо его было озабочено.

— Товарищи, необходимо сохранять спокойствие. Город оставлен нашими. С минуты на минуту сюда могут явиться поляки. Прошу вас быть с ними вежливыми. Бежать отсюда нельзя, да вы и не сможете.

Он вышел из палаты сгорбившись, с трудом волоча правую ногу.

Когда его фигура в последний раз мелькнула у двери, выходящей в коридор, двадцать пять беспомощных, изможденных болезнью людей остро почувствовали, как последняя связующая их с внешним, близким им миром нить порвалась.

За дверями пугающим призраком встало неизвестное.

Грузный топот окованных железом сапог разорвал напряженную тишину вымершего госпиталя. Человек десять легионеров шумно ворвались в палату, размахивая кулаками и прикладами.

Они воровато укладывают в свои вещевые мешки убогий красноармейский скарб, торопясь как можно скорее уйти.

Я сброшен на пол, не будучи в состоянии без посторонней помощи подняться.

Сосед справа, странно раскачиваясь посреди койки, зажимает подушкой глаз, а из его носа торопливой струей стекает кровь, оседая коричневыми сгустками на окладистой бороде.

От слабости, от голода у меня кружится голова. Я впадаю в длительный обморок.

Снова вечер. Откуда-то издали доносится колокольный звон, заглушаемый медными переливами оркестра.

В палате беспорядок, оставленный победителями. Мы лежим в тех же палатах.

Неужели ночь предстоит такая же жуткая, как день?

— Идут! — вскакивает рыжий паренек, лежащий ближе к дверям и выполняющий роль дозорного.

В сопровождении упирающейся сестры со сбитой набок косынкой и в разорванном халате в палату, гремя саблями, входят, слегка покачиваясь, два щеголеватых, свеже выбритых офицера.

— Кто здесь коммунисты?

Сестра тихо, но настойчиво отвечает, что все коммунисты вчера выписаны и отступили вместе с воинскими частями.

— Врешь...—и тут последовало длинное оскорбительное ругательство, подкрепленное ударом в плечо.

Началось поголовное избиение больных.

— Встать, скурве сыне!.. Защелю зараз, холеро!..—прерывало стоны избиваемых и плач сестры.

Стараюсь лежать, не подавая никаких признаков жизни.

7740

Очередь доходит до меня.

— Здыхаешь, пся крев! — произносит один из гостей, ударяя меня с силой в бок, и, на ходу задержавшись у моего ночного столика, в ящике которого сохранилось несколько советских ассигнаций, переходит к очередной жертве.

Сестра отыскивает мой пульс и сострадающе говорит:

— Он, вероятно, к ночи помрет.

Являются ли ее слова отвечающими действи-

тельности, или хочет она уберечь меня от повторных ударов — мне неизвестно.

Я снова нахожусь на грани сумеречного состояния, когда окружающее воспринимается сквозь плотную пелену тумана, застилающего сознание.

Прихожу в себя глубокой ночью. Мигает маленькая керосиновая лампочка. Чьими-то заботливыми руками (очевидно, не успевших выехать из города сестер и санитаров) я перенесен на койку. Слабость — неимоверная.

Лежу. Думаю.

Необходимо не терять ни на минуту бодрости. Кроме врагов, найдутся и друзья. Горя впереди придется хлебнуть немало. Надо как можно скорее поправляться, найти в себе силу выращивать надежду на возможность бегства при любых условиях и обстоятельствах.

Лица больных в полумраке имеют трупный оттенок; они искажены гримасой боли и не рассеянного страха. Стоны ни на минуту не затихают. На губах соседа запекшаяся кровь. Из его бороды вырваны клоки. Он беспокойно ворочается с боку на бок и, увидав, что я очнулся, заговорил хриплым голосом:

— Конец пришел, братишка. И до чего злые, стервецы, все норовят больнее ударить. С чего это? Стояли мы в ихней деревне... Люди, как люди, и бедноты много. Друг друга панами величают, а у панов этих лапти на ногах и куча голодных ребятишек. Помогали им кой в чем и лошадь подарили перед уходом — ногу забила. Уж очень они были благодарны и даже лепешек на дорогу дали, а сами сидели без хлеба. А эти вчера вон того рыжего паренька рукояткой нагана стукнули. Так до сих пор и лежит. Возились, возились сестры с ним и бросили. Не иначе — помер... А вот с тобой что сделали! Сестра

им говорит, что ты помираешь, и он тебя как сада-нет! Ну, народ...

— Народ тут ни при чем,—откликается свистящим шопотом больной, лежащий рядом с бородатым.— Сам видал ведь, что работает и в лаптях ходит и жрать ему нечего. Народ на фронт погнали, а эта сволочь из офицеров с больными воюет. Ну, известное дело, и среди солдат много несознательных — застращали их большевиками. Но правду не утаишь: доберется она и до них...

Сухой лающий кашель прервал его речь; он в изнеможении откинулся на подушку и, полузакрыв глаза, притих.

Лежим с соседом некоторое время молча, погруженные в свои мысли.

— А ведь энтот из коммунистов, третьего дня самолично сказывал. Спустят с него поляки шкуру. Да и нас с тобой, нечего скрывать, не пожалеют,— прерывает молчание сосед.

Мне становится легче от сознания, что в нескольких шагах от меня — свой человек, единомышленник и товарищ.

Стараясь придать своему голосу больше твердости и убедительности, говорю бородачу:

— Брось разводить панику. Авось, живы останемся и с тобой в родных местах побываем.

Сосед сконфуженно умолкает. Наша беседа надолго прерывается.

Между тем рассветает. Надо подготовить себя к испытаниям, которые нам несет наступающий день. Колесо событий только начинает разворачиваться. Повторение вчерашнего неминуемо приведет к смерти, но о ней как-то меньше всего думается. Хочется жить во что бы то ни стало. Авось вывезет.

Больные обносятся кипятком и уцелевшими остатками хлеба.

Сестры, разделяющие с нами участь оставленных на милость врага, стараются вселить в нас бодрость, но это им плохо удается.

Окна продолжают оставаться занавешенными и закрытыми. Солнце постепенно врывается во все поры и щели, рассыпаясь веселым каскадом лучей. В непроветренном спертом воздухе неподвижно застывают густые клубы махорочного дыма. Никто не запрещает курить. Мухи начинают кружиться над лежащим в углу мертвецом с лицом, наполовину прикрытым полотенцем.

Часам к десяти гулкие своды опустевшего здания набухают уверенным топотом десятков ног, принадлежащих властителям наших судеб.

Сестра быстрым движением закрывает меня с головой одеялом и, скрестив руки на груди, застывает у моей койки.

— Вставать, вшисцы! Вставать скорее, холеры!— раздается на всю палату зычный голос сержанта.

Больные испуганно подымаются с коек, на ходу запахивая халаты.

Я не могу этого сделать. Сестра дрожащими руками накидывает на меня больничное одеяние и помогает встать на ноги. Я падаю на пол и на четвереньках доползаю к дверям.

Бородач обнимает меня за плечи, и, подталкиваемые прикладами, мы выстраиваемся в коридоре в одну шеренгу.

— Кто здесь коммунисты — два шага вперед!

Молчание.

— А, холера, пся крев! Не хотите признаваться, так мы вас заставим заговорить. По двадцать шомполов каждому! — отрывисто подает команду сержант.

Солдаты набрасываются на больных.

— Кладнись!

Страшная экзекуция начинается. Бьют остервенело

шомполами, прикладами, мнут сапогами до тех пор, пока жертва перестает подавать признаки жизни. На каждого палача приходится по два истязаемых. Кончившие свое дело помогают товарищам.

В это время незаметно появляется подтянутая фигура в сияющих крагах, с нашивкой красного креста на рукаве.

— Досыть, досыть! — снисходительно роняет он почтительно обернувшимся к нему солдатам.

Очередь доходит до меня. Я плохо соображаю, что со мной делается. Надо мной наклоняется безусое лицо с румянцем во всю щеку и с нестерпимым блеском голубых глаз. Мой истерзанный вид производит на него, очевидно, некоторое впечатление. Он нехотя опускает два тяжеловесных удара прикладом и отводит руку высокого солдата, замахнувшегося на меня шомполом.

Врач с брезгливой гримасой отдает сержанту приказание увести большевистских собак, которые, чего доброго, могут здесь подохнуть.

Поддерживаемый бородачом и его соседом, я подымаюсь на ноги.

Лица стоящих представляют собой сплошные красные маски. Халаты изодраны и перепачканы пылью и кровью. Сквозь лохмотья проступают синяки и подтеки. Мы действительно страшны в эти минуты своим уродством. У моего соседа красуется на лбу громадная шишка, выбиты два зуба и глаза кажутся узенькими щелками. Он поминутно сплевывает на свою бороду, по которой стекают рубиновые капли.

Медленно спускаемся по лестницам, награждаемые дополнительными поощрениями со стороны озверевших солдат. Мой истязатель избегает встречаться со мной взглядом и неловко семенит поодаль.

Выходим на улицу. В последний раз оглядываемся назад. Над фронтоном здания трепыхается еще не

убранный красный флаг с серпом и молотом. На белом полотне выделяются громадные буквы: РСФСР, Виленский запасный госпиталь № 5.

Солнце сжимается от тоски и боли.

Улица, являющаяся, повидимому, одной из центральных, залита солнцем. Праздные толпы останавливаются на тротуарах. Кафе и рестораны выплескивают вместе с кухонными запахами неясные обрывки музыки. Витрины магазинов завалены всякой снедью и товарами.

Мы нерешительно топчемся на месте. Щеголеватая коляска на минуту останавливается; белокурая паненка, тесно прижимаясь к своему спутнику — молодому офицеру, с отвращением оглядывает нас с ног до головы и плюет в лицо ближайшему к ней «преступнику». Конвойные молча улыбаются. Патриотический поступок красавицы принимается одобрительно. Ей аплодируют. Усатый толстяк со сдвинутым в сторону котелком, в тугом крахмальном воротнике, энергично работая локтями и потрясая тростью, неистово орет:

— Смерть москалям-большевикам!

Из толпы вырываются возгласы:

— Довоевались! Варшавы захотели! Бей негодяев!

В тот момент, когда благообразная дама запускает в нас булыжником, на ее шляпу как бы случайно опускается чья-то тяжелая рука и ловкая подножка валит ее наземь. Начинается смятение, сопровождаемое визгом и тревожными свистками. Конвоиры, подталкивая нас прикладами, поспешно гонят вдоль улицы, оттискивая наседающих на нас патриотов. В самый последний момент с балкона пятиэтажного соседнего дома к ногам одного из больных падает маленький сверток. Его незаметно подымает сосед и запихивает в карман.

Значит, в этом городе, в этой толпе не только враги, жаждущие нашего физического уничтожения, но и друзья, доброжелатели, сочувствующие.

Мысль лихорадочно работает в этом направлении.

Останавливаемся у большого казенного здания, оцепленного кругом конной стражей.

У подъезда несколько пулеметов. Очевидно, здесь помещается комендатура. Нас пропускают по одному в большую комнату, обстановка которой состоит из стола и нескольких стульев. За столом двое военных, рядом несколько легионеров, вооруженных шомполами.

Процедура суда начинается с короткого, как выстрел, вопроса:

— Коммунист?

Молчание.

Пять шомполов не делают подсудимых более разговорчивыми.

Тогда один из офицеров, владеющий русским языком, меняет тактику и начинает проникновенным голосом увещевать совращенного большевиками отказаться от своих заблуждений и выдать коммунистов. Он не скупится на обещания и, лишь убедившись в тщетности своих попыток, отрывисто бросает:

— Защелить!

Жертва оттискивается в сторону, и начинается повторное преподавание польской политграмоты.

Я и поддерживающие меня товарищи входим вместе. Свои показания мне приходится давать лежа.

Быстро пропустив всю нашу группу, повторив те же вопросы, судьи, раздраженные нашим упорством, стремительно покидают комнату, отдав старшему по команде какие-то распоряжения.

Итак — расстрел.

После перенесенных пыток смерть не представляется страшной.

Я мысленно озираюсь назад, на пройденный житейский путь. Как на экране мелькают обрывки давнишних встреч и разговоров, выплывают знакомые образы, и рождается обидное чувство, что еще не все тобой сделано и что можно было бы сделать многое.

Больных выволакивают поодиночке во внутренний двор. В открытые окна отчетливо доносятся сухие винтовочные залпы, отдающиеся в сознании многократным эхом.

Несколько человек, в том числе и я, на носилках сгружаются в тряский фургон. Нас увозят в неизвестном направлении.

По всем признакам, нас рассматривают как наиболее важных преступников, от которых необходимо добиться как можно больше признаний.

Мы очень долго кружим по запутанным кривым уличкам старинного города Вильно, останавливаясь по непонятным причинам и без особой необходимости там, где это заблагорассудится нашим четырем конвоирам, следующим пешком вслед за нами.

Они, повидимому, устали и давно не ели. Высокие воротники их серых тужурок расстегнуты. Пот мерно струится по их обветренным и загорелым физиономиям, на которых сейчас, кроме скуки и равнодушия, ничего нельзя прочесть. В их внешности нет ничего палаческого. Молодые крестьянские парни избивали нас по долгу службы. Они лениво перекидываются фразами и конспиративно подсовывают нам папиросы. По временам в их глазах проскальзывает нечто вроде сочувствия.

Наше путешествие сопровождается усиленным любопытством прохожих. Солдаты хмуро и односложно отвечают на расспросы.

Близится вечер.

Стараюсь удержать в памяти подробности своего последнего маршрута, хотя прекрасно сознаю, что это ни к чему.

Меня поражает немая тишина одного из кварталов, сохранившего следы недавнего разгрома. Что-то знакомое в его облике. Такие же зловонные, никогда не видящие солнечного света улички, тесно прижавшиеся друг к другу лачуги, надписи на вывесках справа налево и тоскливая обреченность, пропитавшая насквозь все поры деревянных строений. Этот запах извечной скорби и нищеты, этот средневековый пейзаж, ведь я их встречал во время нашего прохождения по городам и местечкам Западного края.

До моего слуха доносится реплика одного из конвоиров:

— Все жидзе — большевики.

И тогда становится понятным окружающее нас безмолвие. Воображение дорисовывает картину еврейского погрома с неизбежным пухом перин, с разбитой жалкой утварью и с искалеченными, ни в чем неповинными людьми.

Вот она оборотная сторона мудрой цивилизованной польской государственности!

Мы поиближаемся к вокзалу. Свистки и громыхание уходящих и маневрирующих паровозов, отдаленный людской гул, ожерелье огней и опрокинутый над ним звездный купол — вплетаются в пеструю ткань моих лихорадочно нанизываемых впечатлений.

Фургон останавливается у низкого станционного здания, похожего на сарай. Нас загоняют внутрь и защелкивают задвижку.

В нос ударяет нестерпимый терпкий запах спрессованной человечины. В темноте не разобрать отдельных лиц. Слышна родная русская речь. Изо всех углов доносятся заглушенные стоны.

— Очевидно, сюда нагнали захваченных во время отступления красноармейцев и не успевших эвакуироваться больных из расквартированных в городе госпиталей.

Ползком пробираюсь по загаженному деревянному полу, стараясь отыскать себе местечко подальше от двери. Натыкаюсь на группу, занятую оживленной беседой.

— Лежи, товарищ, где придется, все равно дальше тебе не пробраться, народу понапихано, что сельдей в бочке.

Поразительно знакомый голос...

Осторожно спрашиваю:

— Петровский?

— Петька! — подымается он во весь свой громадный рост. — Значит, нашего полку прибыло. Со мной тут Сашка Гребенников, Грознов и еще некоторые товарищи по полку.

Начались расспросы. Стали делиться друг с другом воспоминаниями. Никто никого не удивил. Всеми пережито было то же самое.

Кое-кто стал утешать себя тем, что Вильно будет скоро вновь занято Красной армией.

— Хорошо, если нас к тому времени не пустят в расход,—сказал Петровский.

И он рассказал о двух близких товарищах, погибших в эти дни. Один пал жертвой полевого суда на комендантском дворе, другой погиб от руки польского жандарма в тот момент, когда собирался выбраться на свободу.

А сколько еще наших друзей, спаянных общей идеей, одним порывом, безвестно погибло в эти тяжелые дни отступления!

— Нужно сконцентрировать всю волю на одной цели — побеге, а не размазывать пережитое. Авось

вырвемся отсюда. Тогда будет и на нашей улице праздник! — заключил он.

Потом впал в обычный для него иронический тон и добавил, обращаясь ко мне:

— Ты, брат, не кричи, не волнуйся, а то подойдет «скурве сыне», да как лизнет тебя один раз по хлебалам — выбьет и тебе пару зубов. Погляди вот на Грознова: он почти совсем без зубов остался... А ну-ка, открой рот, покажи свои зубы, — шутил Петровский. — Нам с тобой лафа,—обратился он ко мне принесут хлеб — поедим, а вот товарищу и шамать нечем. Придется нам для него разжевывать.

Стали обсуждать, как выбраться из плена, хотя в нашем положении это было по крайней мере утопично. Кто предлагал разобрать стену пакгауза (делать это пришлось бы голыми руками: у нас не было никаких инструментов), кто советовал захватить оружие у стражи и так далее. Остальные предложения были в таком же духе.

Наконец усталость овладела всеми; мы, тесно прижавшись друг к другу, крепко уснули.

Был, вероятно, уже полдень, но в наглухо запертом сарае было темно. Дышать становилось все труднее.

Никто из нас не решался обратиться к конвойному с просьбой открыть двери. Это грозило новыми пытками.

Нас бросили, как зверей, в клетку, с той лишь разницей, что зверей обычно кормят.

Мы боялись потерять рассудок. По отдельным бессвязным словам, доносившимся до нас, мы чувствовали, что безумие уже охватывает некоторых товарищей и грозит перейти в массовый психоз.

Относительно благополучно было в нашей группе, и этим мы обязаны были Петровскому.

Человек большой физической силы, он принес с

собой настойчивость северян и их умение без жалоб переносить лишения. Он обладал юмором, который не покидал его при любых обстоятельствах, и отличался необычайной чуткостью. В нем чувствовался организатор.

Он старался внушить нам, что даже в таком положении не следует терять надежды. С ним все казалось проще, и огромное желание вырваться из плена представлялось легко осуществимым.

Время протекало в мучительной бездеятельности. Охрана забыла о нашем существовании, либо считала нас надолго выведенными из строя.

Мы собрались было опять поспать, когда дверь пакгауза раскрылась и раздалась команда:

— Вставать, выходить во двор!

Окрики, свист шомполов, удары прикладов.

— Наверно, расстреливать ведут,—говорили в рядах.

— Бросьте глупить, — зашипел на них Петровский.

Нас подвели к товарным вагонам.

Петровскому нанесли несколько ударов по лицу, но он молниеносным прыжком вскочил в вагон, не выпуская моей руки, и при помощи товарищей с трудом протащил меня к себе под улюлюкание командиров.

Все тело ныло. Голова тяжелая — не поднять. Пошарил в темноте около себя и руками нащупал чьи-то ноги.

— Кто?

— Петька?.. Молчи, а то еще добавят,—говорит Петровский (это был он). — Держи голову ниже, лежи и не смей разговаривать. Положи голову мне на спину, она заменит тебе подушку.

Я кладу свою израненную голову на спину Пет-

ровского и пытаюсь заснуть, а слезы обиды и унижения текут ручьем.

Он чувствует это, но молчит.

Вспоминаются почему-то далекие годы работы в лесу... Срубишь дерево, оно с треском валится на землю, и гул идет по всему лесу.

Однажды товарищ погиб, задавленный деревом — не успел отбежать. Умирал в лесу. Вокруг было торжественно и бело...

Здесь десятки друзей гниют среди отбросов — умерли не в бою, а под палочными ударами...

А ведь впереди маячила Варшава.

Под мерный стук колес я начинаю бредить. Я иду в бой, в решительный бой. Я должен взять последнее препятствие.

Я кричу:

— Ур-а-а!..

— Цо, холера! — раздается грозный окрик.

Скрипнула дверь, два солдата бросились избивать прикладами всех лежащих в вагоне. Происходило это в темноте и поэтому было еще более ужасно.

Посторунки били до тех пор, пока не устали.

— Что с тобой? — спросил меня шопотом Петровский.

— Не знаю, мне почудилось, что вновь в полку.

— Чудак, будь осторожен, а то все погибнем ни за грош.

— Хорошо, я буду крепиться, постараюсь не дремать.

Вагон продолжает мерно катиться по рельсам. Куда нас везут?

Остановка. Скрипят двери вагона.

— Приехали. Вставать, скурве сыне! — кричат поляки. — Зараз бендзем выходить!

Все поднялись. Кто-то набрался смелости и спро-

сил посторонка, на какую станцию приехали. Вместо ответа—удар прикладом.

Выходим на платформу. Строимся по четыре в ряд.

На станционном здании читаю надпись: «Волковыск».

— Это недалеко от нашей границы. Если наши возмут Вильно, они до нас быстро доберутся.

— Ходзи! — командует унтер-офицер.

Караульные окружают нашу группу тесным кольцом. Мы идем вперед. Я повис на мощном плече Петровского.

Подходим к огороженному колючей проволокой зданию. На изгороди дощечка с надписью: «Управление волковыского коменданта».

После утомительного пути мы вновь стоим у дверей «дома отдыха», устроенного добрыми католиками.

Больные, поставленные на ноги при помощи чудодейственного лекарства, настоенного на шомполах и прикладах,—мы, как евангельское стадо, ждем пастыря, который принял бы нас на свое попечение.

Мы голодны. Наши ноги натружены. Какая Мария-Магдалина их омоет? Нам холодно. Мы зябнем. Наши тела покрыты ранами. Кто исцелит их?

Мы прошли через страну, бог которой возложил на нее высокую миссию отстоять Европу от варваров, несущих смерть и разложение.

Мы не можем жаловаться на отсутствие расположения со стороны этого бога. Мы вновь стоим у входа в одну из его обителей и уверенно ждем таких же милостей, какими он уже не раз награждал нас в своей неизмеримой щедрости.

Мы ждем...

На крыльце появляется фигура, закутанная в черный балахон. Два широко расставленных глаза охва-

тывают сразу частокол забора, колючую изгородь, штыки конвойных. Взгляд скользит по нашей группе. Лицо искривляет усмешка.

Представитель бога, подобрав сутану, спускается со ступенек и проходит мимо нас.

Конвойные почтительно провожают его взглядами.

Представитель бога отбыл. Потомственный сапожник Федька Бодров незаметно посылает вслед сутане три плевка. На пыльной земле расплываются густые пурпурные пятна.

Я смотрю на беззубое лицо Федьки и думаю о том, сколько ударов осилят еще легкие и печенка Федьки в стране милосердного бога.

Мое внимание отвлечено. На крыльце появляется с отечным немолодым лицом офицер.

Конвоиры вытягиваются в струнку. Старший рапортует.

Вслед за начальством выходит с десяток солдат. У каждого в руке плетка и шомпол.

— Держись, брат, — шепчет мне Грознов. — На этот раз нам придется отведать волковыских плеток.

— Бачнись! — раздается команда.

Никто из нас не понимает этого слова.

— Смирно!—орет на великолепном русском языке офицер.—Голову выше, сволочи! Мы вас научим, как держать себя.

Эластичный прыжок с крыльца с занесенной рукой, и удар наотмашь по Федькиной физиономии.

Федька падает, как жердь.

Сильным ударом в бок офицер ставит Федьку на ноги. Затем, повернувшись к нам, командует:

— Господа офицеры царской армии, пять шагов вперед, шагом марш!

Из наших рядов выходят четверо. Каждый из них рука под воображаемый козырек — громко и отчет-

ливо рапортует о своем дореволюционном чине и полке.

— Станьте в сторону, господа офицеры!

Мы забываем о себе. С интересом следим за происходящим.

«Господа офицеры», превозмогая утомление, «молодцевато» отходят.

Впечатление не из сильных. Остатки больничных халатов, сине-черные волосы на лицах — трудно в таком виде показать «доблестный» вид.

Унижения, которым офицеры подвергались в Вильне наряду с нами, заставляли нас забывать о том, что они в прошлом были офицерами царской армии; мы видели в них лишь товарищей по несчастью.

Польский офицер знает лучше, по каким признакам следует отбирать людей.

Снова команда.

— Красные командиры, пять шагов вперед, шагом марш!—звучит четко, как выстрел.

В наших рядах тишина. Глаза в затылок соседа. Никаких движений — замри, сердце!

Грознов и Петровский жмутся ко мне, стараясь спрятать меня от начальства и «господ офицеров».

— Значит, нет красных командиров? — звучит голос офицера тихо, спокойно и чуть ли не дружелюбно.—А может быть, есть?

В наших рядах то же настороженное молчание.

Поворот к четырем царским офицерам и вежливое:

— Господа офицеры, покажите мне, кто здесь красный командир, комиссар или коммунист.

Так вот для чего отобрали их, вот для чего их выделили из нашей среды...

Мы больше не прячем глаз. Все смотрим вправо на тех четверых.

Не совсем уверенно, видимо, тяготясь своей по-

стыдной ролью, приближаются недавние товарищи к нашей группе.

Один из них подходит ко мне вплотную, смотрит слепыми глазами в лицо, скорее чувствует, чем видит, мой пристальный ненавидящий взгляд и проходит мимо.

«Господа офицеры» понуро бредут к командиру.

— Ни на кого не могу показать, ваше высокоблагородие, — рапортует каждый из них новоявленному начальству.

Вздох облегчения проносится по рядам.

— Посмотрим, что они запоют потом!

Польский офицер презрительно оглядывает человеческое отребье, которое он только что произвел в «господ офицеров».

Ему неловко за контакт с бродягами, который не дал требуемых результатов. Он начинает яриться. Гневно бросает им:

— Вы недостойны носить свое высокое звание!

Отводит их в сторону и горячо в чем-то убеждает.

Не только мы, но и конвойные с любопытством следят за этой сценой.

Офицеры в чем-то оправдываются.

Командир подходит вплотную к нам, и из второго ряда слева вытаскивает человека.

Сильный удар валит его на землю.

Короткий окрик:

— Жид, встать!

Предсмертный ужас в глазах жертвы.

Офицер учащает удары, бьет до изнеможения. Потом поднимает с земли доску и наносит полумертвому несколько сильных ударов по голове.

Все кончено. На земле труп.

Солдаты оттаскивают его в сторону.

Грозное рвется из рядов. Петровский клещами

сжимает его руку; от напряжения вены на его лбу вздулись черными узловатыми буграми.

Солдаты хватают из рядов следующего «коммуниста» и ведут к офицеру. Короткий вопрос, вслед за этим удары плетки и безумные крики истерзанного.

Непосредственно передо мной проходит «сквозь строй» Петровский.

Я вижу, как на спине его появляются красные рубцы толщиной в палец, из которых течет кровь. Мне делается дурно. Я падаю к ногам Грознова...

Моя очередь.

Палачи торопятся. Рабочий день кончается, а нас еще много.

Ведут следующего, а я ползу к месту свалки для прошедших «офицерскую заставу».

Здесь Петровский и многие другие. Вскоре к нам присоединяется Грознов.

— Вот, сукин сын! — говорит Петровский. — С одного удара вышиб два зуба. А ну-ка, глянь мне, Петька, в рот!

Я вижу распухший язык, полный крови рот. Отвечаю:

— Заживет...

Все происшедшее выше человеческих сил.

Грознов начинает колотиться головой о землю...

— Лучше расстрел, чем такие муки. Пойду сейчас и наброшусь на этого негодяя. Пусть меня расстреляют — хоть умру с честью! — кричит он, вскакивая на ноги.

— Ничего, ничего, переживем, — утешает его Петровский. — Мы ведь рабочие люди. Нас побоями не запугаешь.

— Они мне легкие отбили. Солдаты били сапогами.

— Хорошо, что они тебе потроха не вымотали...

Жрать хочется, — говорит Петровский, — мы забыли, когда ели...

— Не плохо было бы хоть сухари с водой. У солдат можно будет хлеба выпросить, — отвечает Грознов. — Жаль, загнать нечего.

— Давай мои ботинки загоним, — предлагает Петровский. — Вы босы, а я обут. Будем все босиком ходить. И без того я на буржуя смахиваю.

Грознов тщательно счищает грязь с ботинок Петровского и уходит с опасной миссией.

Он долго не возвращается. Мы решаем, что ботинки у него отобрали, а самого избили шомполами.

— Эх, чорт! — накидываюсь я на Петровского. — Лучше голод, чем ставить товарища вновь под удары.

В тревоге проходит около двадцати минут.

Наконец показывается Грознов. В руках у него большой кусок хлеба.

— Понимаете, — шамкает он, — один скурве сыне (он уже стал усваивать жаргон конвоиров) едва не отобрал ботинки задаром, но я все-таки вымолил у него хлеба. Смотрите, какой кусок!

Он торжественно потрясает в воздухе хлебом, бережно, по-крестьянски, делит кусок на равные части, и мы с жадностью едим. Стараемся не смотреть друг на друга.

Расправившись с хлебом, ложимся спать. Кое-как примостившись друг к другу, тревожно засыпаем.

Ночь проходит без приключений. Но сон не успокаивает. Мы лишь несколько подкрепляем свои силы, которые на исходе.

Утром является писарь. Он всех переписывает, а затем объявляет, что нам выдадут хлеб и часа через два отправят в Белосток.

Писарь нас не обманул. Нам действительно выдают по четверти фунта хлеба, выстраивают и ведут на вокзал.

Поезд увозит нас все дальше и дальше в глубь Польши.

В Белостоке нехватило по списку четверых человек: они умерли в дороге, и из вагонов вытащили их трупы.

Унтер-офицер торопливо вычеркнул умерших из списка.

Мы двинулись в сторону от вокзала, навстречу громадным баракам для военнопленных.

Белосток являлся сортировочным лагерем: из него отправляли пленных во все концы Польши.

Лагерь был огорожен несколькими рядами колючей проволоки и обнесен глубоким рвом. Кругом бараков были выстроены будки для часовых. На высоких столбах качались электрические фонари.

После перенесенных мытарств перспектива хотя бы временного пребывания на оседлом положении казалась заманчивой. Искалеченные, полураздетые, полураздавленные, мы все же сохранили способность соображать и передвигаться; мы остались в живых, вырвались из цепких объятий смерти, столько раз заглядывавшей нам в глаза.

Это граничило с чудом. Но в чудеса после пережитого верить не приходилось.

2. *Белостокский лагерь*

Прием несколько «ласковее», чем в других местах: слегка только избили при осмотре, — но это не в счет. Решили, что первые два-три дня нам дадут возможность отдохнуть и работать не заставят.

К обеду нам дали суп из бураков. Поели, почувствовали себя несколько бодрее.

Смущали нас только два обстоятельства: нам давали мало хлеба — по четверть фунта в день; во-вторых, побег, мысль о котором овладела нами сей-

час же по прибытии в лагерь, казался в данных условиях почти невозможным.

Если в пути мы об этом не думали, то теперь, когда очутились «дома», мысли о побеге всецело овладели нами.

В первую же ночь мы стали разрабатывать проект установления связи с пленными из других бараков. Через них надеялись получить кое-какую информацию относительно режима, установленного в лагере для пленных, характеристику нашего начальства и целый ряд других сведений, которые дали бы возможность ориентироваться в обстановке.

Томила также неизвестность о судьбе нашей отступавшей армии.

Несмотря на временные неудачи, мы были твердо убеждены в том, что знамя пролетарской революции будет победоносно утверждено в Европе, во всем мире. Мы еще должны будем вернуться к воротам Варшавы, помочь польским братьям по классу завершить начатое дело.

Наши попытки добиться от конвоиров ответов хотя бы на самые невинные вопросы не давали результатов.

Выяснилось, что пленные одного барака изолируются от пленных других бараков, что, конечно, сильно затрудняло возможность установления связи.

Вскоре к нам примкнул четвертый товарищ — Сорокин, с которым мы успели познакомиться в пути. Он так же, как и мы, решил бежать из лагеря во что бы то ни стало.

План в конце концов был выработан не сложный. Ночью мы должны были перерезать проволоку, окружавшую лагерь, убежать в лес и, скрываясь там, двигаться по ночам к Белоруссии.

Мы поручили Петровскому сделать ножницы из двух ножей, которые предварительно нужно было

украсть на кухне. Последнюю операцию поручили Грознову и Сорокину.

Мне, наиболее потрепанному, необходимо было окрепнуть, чтобы без риска для товарищей двинуться вместе с ними. После тифа и побоев, так щедро сыпавшихся на меня, я окончательно ослабел.

Рассчитывать на установление диэтетического режима, способствующего восстановлению моих сил, разумеется, не приходилось.

Я пытался доказать товарищам, что они не имеют права дожидаться меня.

Мои уговоры оказались бесполезными.

Мы порешили энергично заняться подготовительной работой.

Лагерное начальство не рисковало пускать нас в город и не утруждало пока ничем. Времени свободного было хоть отбавляй.

Мы жили, как на необитаемом острове, окруженные злыми церберами.

Совсем близко от нас напряженно бился пульс промышленного города. Днем он представлялся суетящимся муравейником. Передвигавшиеся по всем его диагоналям люди казались безликими. Вечерами город расцвечивался беспокойными огнями. На фоне обычных построек отчетливее выделялись фабричные корпуса, резче звучали гудки и трубы и по-особому воспринимались волнующие ритмы его жизни.

Наши мысли устремлялись к рабочим кварталам, населенным теми, кому предстоят еще великие испытания, кто должен снова накапливать силы для дальнейшей борьбы с угнетателями.

Эти люди были нам близки.

Однажды в бараке устроили поголовный обыск. Наши «вещи» перетряхивали. Допытывались, не видел ли кто газет.

Мы решили, что в городе что-то произошло. Позд-

нее нам удалось узнать, что охрана поймала у входа в лагерь какую-то старуху, которая не могла объяснить, как и для чего она сюда попала. Кое-кому из пленных при этом влетело.

Ранним утром нас будили конвоиры и проверяли «наличность» по списку. Потом бросали по куску хлеба и давали по кружке кипятку. Днем кормили баландой. Ложиться спать заставляли рано.

Дни тянулись мучительно медленно.

Безделие, сперва казавшееся таким желанным, начинало тяготить.

Безрадостное монотонное существование парализовало у некоторых волю к жизни. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не умирал. О врачебной помощи, об уходе за истощенными и больными пленниками говорить не приходилось. Даже хоронить их особенно не торопились, и зачастую мертвецы продолжали разделять общество живых в течение одного-двух дней.

По ночам наша четверка, дождавшись, когда все погружалось в сон, когда ослабевала даже бдительность часовых, приступала к беседе. Днем всякое общение друг с другом запрещалось.

Нары в бараке были выстроены в два этажа. Место Петровского находилось наверху в углу, а мы группировались вокруг него. Шопотом сообщали последние известия, делились наблюдениями, занимались «углублением» разработанного плана. Часто до утра рассказывали по очереди о себе, о других, о неизмеримо богатой событиями и встречами жизни.

По обыкновению всех нас побивал Петровский. Запас его историй казался неиссякаемым.

Ножи из кухни все же были украдены, причем товарищи даже перестарались: вместо двух — утащили три.

Вечером того же дня, когда произошло это событие, Сорокин, лежа на нарах, философствовал:

— Эх, сделаем мы прекрасные ножницы, а один нож на всякий случай оставим—если между нами и свободой станет ckvove сыне.

Сорокин должен был из старого брезента, который валялся около кухни, съимпровизировать род обуви, без которой наше путешествие было бы затруднено.

Основные условия, необходимые для выполнения задуманного нами побега, как будто складывались благоприятно.

Попоежнему скверно обстояло дело с моим здоровьем: я был вялым, хилым, больше отлеживался на нарах, чем ходил. Стал надрывно кашлять, подолгу пребывал в какой-то нездоровой дремоте, после которой вставал совершенно разбитым.

Мои повторные предложения товарищам не связывать их судьбы с моей вызывали категорический протест.

Спустя две недели после нашего прибытия в Белостокский лагерь пригнали свежую партию пленных красноармейцев.

Сквозь дрему слышу разговор приближающихся людей.

Меня окликает Петровский.

— Посмотри на этого турка, на кого он похож?

Всматриваюсь.

— Шалимов! Да неужели ты?

— К несчастью, это я, Шалимов.

Бросаюсь к нему на шею, обнимаю.

— Шалимыч, рассказывай все о себе, только поскорее. И о фронте. Нет, раньше о фронте, о наших.

— Рассказать не могу, ибо сам не представляю себе точной картины, но все же кое-какие соображения выскажу. Стратег, ты сам знаешь, я не ахти ка-

кой, но попробую. Итак, в погоне за противником мы недостаточно укрепляли тыл, у нас было мало резервов, мы слишком растянули фронт. Наши части наступали не цепями, а группами, и поэтому между отдельными участками фронта была плохая связь. Достаточно было противнику сконцентрировать свои войска на одном из участков и оказать нам упорное сопротивление в каком-нибудь пункте, как этим для нас обозначалась угроза, неудача, а для поляков успех. Они это учли. Бросив в наступление свои части на участке восточнее Вильно, они сумели прорвать фронт и пошли гулять в нашем тылу, притом как раз там, где у нас не было резервов. Первый успех их окрылил, вернул им бодрость. Тогда они осмелели и пошли в обход на Вильно, где, к несчастью, был малочисленный гарнизон. Не повезло нам, что называется...

— А как ты попал сюда?!

Наш разговор был надолго прерван. Нового компаньона несколько раз уводили для выполнения необходимых формальностей.

Еще до наступления темноты по всему лагерю замечалось необычное оживление. Прибывшая с новыми пленными партия конвоиров, отпущенная на несколько часов в город, вернулась сильно подвыпившей.

Только мы успели улечься и приготовиться к слушанию Шалимова, неожиданно в барак ворвались десять солдат, открывших беспорядочную стрельбу в потолок и мимоходом ранивших несколько человек.

Такое вступление не предвещало ничего хорошего.

Легионеры, очевидно, с молчаливого разрешения начальства, решили «погулять», отвести свою душу на беззащитных, безоружных «москалях», о которых им наговорили столько страшных и жестоких вещей.

Начали с розысков евреев. Но представителей этой нации в бараке не оказалось, да и во всем ла-

гере не могло быть, так как их ликвидация являлась предметом невинных забав наших посторунков.

Тогда гости занялись изучением физиономических свойств обитателей нар, сопровождая его усиленным рукоприкладством и неистощимым сквернословием.

Шесть товарищей, в том числе и Грознов, были отобраны для завершения расправы на свежем воздухе.

Грознову помогла счастливая случайность. Один из конвоиров оказался знакомым по Волковыску, снабдившим нас хлебом в обмен на ботинки Петровского.

В самый последний момент, уже у выхода из барака, он милостиво сказал собратьям по оружию: «Бросьте его», — и этого было достаточно, чтобы Грознова вновь признали христианином и оставили в покое.

Ночь прошла тревожно. Мы ждали возвращения пьяной компании, до самого утра горланившей песни и творившей бесчинства в дoyгих бараках.

— ... Так вот, — продолжал Шалимов, — я был направлен на охрану вамишульского участка. Жилось нам не плохо. Немцы не беспокоили, поляков вблизи не было. Словом, было нечто вроде перемирия. Но вот, двадцатого апреля, на нас совершенно неожиданно напал неизвестно откуда взявшийся отряд поляков. Дело было ночью. Я в это время на конюшне задавал лошадям сено. Вдoyг услышал крик. Вышел из конюшни, решив, что наши балуются. На меня набросились два солдата, связали и потащили к своему начальству. Там от меня потребовали рассказать подробно о расположении наших красноармейских частей. Забыл вам сообщить, что взят я был в одном белье, а поверх был вот этот армяк. Его я накинул на себя, выходя из избы. Я начал врать: сам я, мол,

сын домохозяина, больной, ничего не знаю. Насчет красных говорят, что будто в самой деревне стоят, три роты, а с ними пулеметов видимо-невидимо. Поляки насторожились, начали меня настойчиво расспрашивать о количестве пушек, пулеметов, осведомлялись, есть ли у красных кавалерия, а я вдохновенно врал им почем зря. Говорил, что пулеметов много, а сколько — точно не знаю: каждый день их по нескольку штук на бричках провозят мимо нашего окна. Да и кавалерии изрядно: без конца ездят, сена от нас требуют. «А много кавалерии?» — продолжали свой допрос поляки. «Да человек с тысячу», — брякнул я. Посовещались они немножко, забрали у хозяина той избы, в которую меня приволокли, телегу с лошадью и поехали в противоположную сторону. Но... к моему огорчению, захватили и меня с собой. Это было хуже. Как я ни просил их отпустить меня, плакал, рыдал навзрыд, — ничего не помогло... Сижу с ними — на душе погано. Все думаю, как дурачком мне дальше держать себя, удастся ли и впредь прикидываться... Приехали мы в местечко Кошедары, где помещался штаб полка. Взяли меня там в работу. Учинили допрос по-настоящему. Наговорил я им с три короба. Офицеры говорят: «Шпион, пся крев, расстрелять его!» Но, очевидно, уж больно подействовала на них моя глупость — дальше угроз они не пошли... На другой день получилось в штабе польского полка известие о взятии Вильно. Я про себя крепко выругался, но огорчения своего не показал. «Стало быть, — решил я, — наших ребят, которые стояли в Жослях, Пояцышках и Вамишули, забрали в плен и привезли наверное сюда в Кошедары». Так и оказалось. Когда меня вместе с группой других пленных отправили в тюрьму, а оттуда перебросили к коменданту местечка Кошедары, я очутился среди своих. Мне посчастливилось, били меня сравнительно

мало, других же пленных засекали до полусмерти... Ну, а вас как? — спросил Шалимов.

Мы предпочли уклониться от ответа.

Поняв все и без наших разъяснений, Шалимов, чтобы отвлечь нас от грустных мыслей, весело добавил:

— А как у вас тут насчет жратвы? Есть хочется.

— Скверно, конечно, — ответил я. — Вода с бураками да бураки с водой. Суп такой, что крупинка за крупинкой бегает с дубинкой и догнать не может.

— А сколько хлеба дают?

— На унции взвешиваем. Товарищ Грознов новые весы изобрел, — сострил Петровский.

— Ну ничего, — успокоил нас Шалимов. — Я вас подкормлю. У меня в тельной рубахе карман, и там лежит около двух тысяч польскими ассигнациями. На жратву хватит.

— Да неужели? — ахнули мы все.

— Не верите, так вот смотрите.

Засунув руку за пазуху, Шалимов извлек оттуда пачку радужных и весело шуршащих бумажек. Вынул из нее несколько кредиток и, подавая Грознову, сказал:

— Хорошо бы и сала к хлебу купить.

Мы рассмеялись, а Грознов сказал с задором:

— Я теперь и чорта в ступе куплю, не только сала!

Он быстро исчез.

Беседа наша тем временем продолжалась. Мы посвятили, конечно, Шалимова в план нашего побега.

Он очень серьезно выслушал нас и сказал:

— Побег надо подготовить как следует. Зря рисковать не нужно. Если поляки поймают, пощады от них не жди никакой. По-моему, Петьке сейчас бежать нельзя, он такой дальней дороги не выдержит.

Скоро польют дожди, почва превратится в рыхлое месиво. Лучше было бы подождать, а тем временем и Петька окрепнет.

В словах Шалимова много спокойной рассудительности.

Говорит он медленно, взвешивая каждое слово, изредка вкрапливая в свою речь блестки природного юмора.

В нем чувствуется крепкая крестьянская сметка, серьезная деловитость и вместе с тем неуловимая мягкость.

Все эти качества заставляют относиться к Шалимову с уважением и доверием.

Шалимов умел в военной обстановке научить бойца ценить классовое лицо Красной армии.

Помню такой случай. Отряд Шалимова после жестокого боя занял деревню. Поляки поспешно отступали. Деревня казалась вымершей. Как только стихли выстрелы, в поле на худой кляче выехал крестьянин и с ним девочка лет десяти. Он не боялся. Его подстегивала работа. Пусть рядом воюют, пусть его поле избороздили окопы — он все же должен пахать. Крестьянин помогал понурой кляче, и трудно было определить, кто тратит больше сил, человек или лошадь.

Высоко в небе показался польский аэроплан. Загремело: одна за другой разорвались две бомбы. Наше зенитное орудие открыло по аэроплану стрельбу. Лошадь начала испуганно шарахаться в стороны, а ее хозяин стал заметно нервничать. Девочка, громко рыдая, крепко вцепилась в отца ручонками, умоляя его вернуться домой.

К ним подошел Шалимов, утешил, как мог, девочку и без лишних слов приступил к работе. Все это происходило на глазах у красноармейцев, которые, будучи в большинстве своем сами крестьянами, умели ценить такого рода поступки больше, чем пламенные

выступления многочисленных ораторов на тему о классовой солидарности.

С приходом Шалимова мы стали верить в успех побега, в то, что нам удастся от слов перейти к делу.

Я стал внушать себе, что я заметно поправляюсь; у меня явилось непоколебимое желание быть неразлучным с товарищами в удаче и в беде.

В кредитках Шалимова оказалось много калорий. После продолжительного недоедания хлеб с салом и водой показался нам вкуснейшим блюдом в мире.

— Ничего, ничего, — отечески утешил нас Шалимов, — теперь с месяц будем так питаться.

— Ну, тогда мы непременно животы отрастим, — шутил Грознов.

Мы ежедневно покупали хлеб, иногда и сало.

Помню, как, почувствовав себя впервые здоровым и желая продемонстрировать перед товарищами свои силы, я пробежал довольно быстро несколько метров.

— Ну вот, очень хорошо, — сказал Шалимов. — Еще неделя, и мы сможем тягаля задать.

Начались оживленные совещания, посвященные побегу.

В бараке хмуро, как в собачьей конуре, а мы имеем вид облезлых псов. Небо же чистое, словно умытое, ветерок доносит с полей медвяные запахи. Отсыревшая земля жадно впитывает солнечную ласку; примятая трава заметно желтеет.

В такие минуты сильнее щемит тоска.

Часовой стоит у калитки и немигающим взглядом смотрит вдаль.

Откуда-то появляется облезлый кот и изящным прыжком, без разгона, с места вскакивает на забор.

Пострунок ударяет его прикладом, но кот не убегает; он отскакивает в сторону и продолжает созерцать прозрачную синь. Он щурится на солнце, изящно изгибает спину и тихонько мурлычет. Его отдаленные

предки бросались на человека — когти в живот, пасть к горлу... Но сила когтей и зубов потеряна давно. Тигр выродился в мелкую породу, способную лишь гоняться за желторотыми воробьями и мышами.

Недавно мы были сильными. Неужели теперь мы уподобились тому ручному коту? Неужели у нас нехватит сил для борьбы?

Мы с тоской смотрим на зеленеющие просторы, на город до тех пор, пока часовой угрожающе не замахивается на нас прикладом.

«Надо бежать, надо бежать», — думает каждый из нас про себя.

Начальства в лагере почти совсем не видно. Приедет иногда в коляске пан комендант, послушает рапорт, задаст несколько незначущих вопросов и обратно в город.

Наша охрана не испытывала на себе тягот, связанных с несением воинской службы. Дисциплина с каждым днем падала. Все чаще и чаще конвоиры напивались и по ночам дебоширили.

Жаловаться на них представлялось совершенно бессмысленным.

«Пора бежать, нельзя упускать момента!»

Мы назначаем точный срок. Как будто половина дела сделана. Нам не терпится: мы все страшно жаждем действия, смелого, решительного, пусть безрассудного.

И вдруг...

В намеченный нами день утром в бараке появляется унтер-офицер. Раздается команда:

— Собраться с вещами!..

Я вижу, как бледнеет Петровский, вижу растерянное лицо Грознова и чувствую себя особенно неловко. Ведь как-никак, не будь меня, мои товарищи давно бы бежали. Я явился для них помехой.

От них ни одного упрека.

Это причиняет мне нестерпимую боль. Если бы нужно было, я пожертвовал бы своей жизнью для того, чтобы вернуть им возможность бежать. Но уже поздно.

Я кладу за пазуху ножницы, нож и выхожу из барака.

Пленные строятся в шеренги.

Нам напоминают о том, что шомполы и приклады еще не отменены. Но мы уже почти не реагируем на побои. Стараемся только, чтобы удар не приходился по лицу.

Нас ведут полем. Ноги месят густую липкую грязь. Их трудно вытаскивать. Временами кажется, что увязнешь. Тогда подбегают с проклятиями конвойные и начинают подталкивать прикладом.

Мы начинаем метаться, как затравленные. Меркнет голубое небо, сразу тускнеют все яркие радостные краски, и становится обидно и грустно.

Мимо проносится поезд. Из окон на нас глядят удивленные лица пассажиров, уносящих с собой странное видение — сотню выходцев с того света. Пробегает последний вагон с кондуктором на тормозе.

Путь свободен. Мы карабкаемся на насыпь и подходим к вокзалу.

Нас набивают в товарные вагоны. В них кучи неубранного навоза. Вот и корыто уцелело. Мы жадно допиваем остатки воды в нем. Охрана снаружи запирает двери.

Мы отправляемся. Куда?

Засыпаем тут же на полу, тесно прижавшись друг к другу.

Ночью конвой неожиданно нас проверяет.

Кто-то в вагоне услышал оброненное слово: «Варшава», и оно в момент облетает весь вагон.

Эшелон задерживают лишь на час, другой. Из вагонов никого не выпускают.

Мы стоим на запасных путях.

Поехали. Опять в неизвестность. Старались не говорить друг с другом.

Вышли. Построились.

— Сейчас пойдем обедать, — обещает конвоир, — а потом поедем дальше.

— А вы не знаете, пане?..—спрашиваем почтительно и робко, словно, попав в плен, мы потеряли право быть любопытными даже тогда, когда это касается нас непосредственно.

— Далеко, в центральные лагери, — отвечает солдат на ломаном русском языке.

Нас ведут около километра в какую-то громадную казарму, приспособленную под столовую.

— Посмотрите, тут есть даже лавки и столы.

Мы рассаживаемся группами и ждем обеда. К общему удивлению, впервые за время нахождения в плену получаем прекрасный обед: суп с крупой и даже с салом. Этот обед, по сравнению с тем, что мы ели раньше, был подлинной мечтой.

Той же дорогой мы возвращаемся обратно в вагоны и направляемся в Калиш.

С вокзала нас погнали сразу в лагерь.

Бараки обнесены четырьмя рядами колючей проволоки. Вокруг бараков вышки для часовых. Яркие прожектора по ночам бороздили во всех направлениях.

Мы делимся впечатлениями. Калишский лагерь построен довольно основательно. Выбраться из него, видимо, будет не легко.

— Тут, пожалуй, проживешь целый год и не увидишь ни одного рабочего, — раздраженно говорит Грознов. — С кем тут связь установишь?

— Ничего, Грознов, не унывай, — утешает его Шалимов.

Наша «пятерка» вновь в одном бараке.

Мы быстро входим в курс жизни. Нравы те же, только бьют здесь плетками. Если кого-нибудь уводили на расправу, то в этом случае мы говорили: «Телефоны проводить повели».

Это либеральное палачество, однако, обходилось пленным дороже. Удар по голому телу сухой жилой или изолированной проволокой причинял мучительную боль; после такого удара образовывались рваные раны, лечить их было нечем, начиналось нагноение, и многие товарищи, получив заражение крови, умирали.

На первых порах нам удавалось счастливо избегать знакомства с плетью. Но как-то Шалимов и Сорокин пошли в уборную и по дороге закурили. Конвоиры заметили «баловство», схватили наших двух товарищей и поместили их на ночь в арестный барак, где и всыпали по пятнадцати ударов. Окровавленные, они приплелись обратно в барак и, плача от злобы и от сознания собственного бессилия, бросились на нары.

Чуть отлежавшись, Шалимов поделился с нами новостями, услышанными во время пребывания в бараке, который почему-то назывался бараком специального назначения.

После того, как нас отодрали, мы прикорнули в полутемном углу. Рядом сидят трое, шепчутся. Рассказывают, что схватили их в Белостоке. Обвиняют в агитации на заводах среди рабочих, в призывах к восстанию. У молодого упрямое, непокорное лицо. Такие лица обычно сразу вызывают прилив жестокости у допрашивающих. Поэтому меня не удивили ни висящая плетью рука, ни разодранный пиджак, сквозь дыры которого просвечивало тело все в ссадинах. С полуслова я понял, что имею дело с комсомольцем. Выдержка у мальца — безупречная. А ведь

дело пахнет расстрелом. Два других — родичи комсомольца, напуганные люди. Комсомольца, конечно, расстреляют, и он это знает, а пока его пытают, надеются узнать у него фамилии и адреса членов подпольной организации в Белостоке. А парень — кремень, о смерти говорит равнодушно, только своих родичей жалеет, — все пытается их выгородить. Чем больше их защищает, тем меньше ему поляки верят и все усиливают пытки. Комсомолец рассказывал, что наши части пока отступают, но армия боевую силу сохранила. Говорил, что долго продолжать войну поляки не смогут — в тылу у них очень неспокойно, что скоро мы дома будем. Глядели мы на него, что называется, во все глаза, — про свою боль забыли даже. Стыдно нам стало, что так много мы о себе думаем, а тут рядом юноша, почти мальчик, весь во власти одной мысли — за товарищей постоять, до конца сохранить стойкость и мужество.

Шалимов отвернулся к стене. Он долго молчал, и его молчание действовало на нас всех тягостно, ибо мы знали ему цену.

На другое утро старший унтер-офицер случайно увидал походные котелки на нарах, а им надлежало висеть на стене. Этого было достаточно, чтобы тут же в бараке вспыпалось каждому из нас по десяти ударов.

— Изверги, негодяи, будь вы прокляты! — бросил вслед уходящим Петровский, когда все было уже кончено.

— Цо, холеро? — огрызнулись они.

Мы замерли от ужаса. Неужели мы будем вновь наказаны?

К счастью, они не поняли или недослышали слов Петровского, поэтому ограничились только тем, что ударили его несколько раз по лицу.

Страшно было смотреть на Шалимова и Сорокина. Бедняги не могли ни сидеть, ни лежать.

В эту же ночь разъяренные, бешено ненавидящие наших врагов, мы составили новый план бегства.

Больше терпеть было невозможно, это было выше наших сил. Тюремщики вошли во вкус. Сохранить человеческий облик можно было только бежав, иначе мы рисковали дойти до положения невольников на галерах.

Бежать.

Никаких отсрочек, никаких проволочек, никаких колебаний и отступлений.

Бежать в ближайшую же ночь, в поле, через болото, через леса, либо спастись, либо неминуемо погибнуть.

3. Первый побег

Почему-то больше всех волновался Сорокин. Мы вообще замечали за ним странности: то бегает целый день, суетится, то в течение долгих часов остается неподвижным и о чем-то мечтает.

Просыпаясь ночью, слышал, как он шептал что-то про себя.

— Что ты бормочешь? Почему тебе не спится? Расскажи, ведь легче станет.

— Да, знаешь, думаю, как там дома у меня. Ведь женился я недавно. Жена молодая, красивая. Кто ее знает... как будто бы любила, — задумчиво добавил он, — но время суровое, теперь на деревне парней много. Да и старики там остались... Я ведь добровольцем пошел, — оживился он. — У нас в деревне народ темный, а я в городе шесть лет на фабрике работал. Вначале, когда воевали, мало о доме думал, а теперь, в проклятом плену, чаще о жене и стариках своих вспоминаю.

Положение каждого из нас мало отличалось от сорокинского, но об этом некогда было думать, гнали все мысли прочь. Хотелось только снова вернуться к работе, а затем уже...

По вечерам в бараках появлялись офицеры. Их холеные лица, отмеченные печатью вырождения, выражали презрение и скуку. В этом маленьком гнусном городишке никакого общества, никаких развлечений. Могли ли они отказать себе в удовольствии поиздеваться над беззащитными людьми?

Красная армия стремительно откатывалась назад. С каждым днем они чувствовали себя все увереннее и наглее. Ни одно избиение не обходилось без напоминания о том, что мы захотели Варшавы, а теперь они скоро прогонят нас в Азию.

К девяти часам вечера бараки запирались. Электрические фонари и прожекторы зажигались только в десять часов. Таким образом, в этот промежуток между девятью и десятью часами нам удобнее всего было бежать.

За эти короткие шестьдесят минут нужно было успеть пройти в уборную, примыкавшую к стене, оторвать там две-три доски и выйти непосредственно на линию проволочных заграждений.

Дальше предстояло перерезать первые четыре ряда проволоки и перебежать в пустые бараки, которые находились от нашего жилья примерно на расстоянии ста пятидесяти метров.

Если бы нас в этот момент заметили часовые, пощады, милосердия ждать нечего было: нас расстреляли бы на месте.

Если же обойдется благополучно, следовало от пустых бараков ударить во-всю прямиком по полю.

Выйдя из лагеря, мы должны были держать направление на северо-восток, разбившись предварительно на две группы: в одной Петровский и я, в

другой Шалимов, Грознов и Сорокин. Так будет легче прятаться.

Предварительно Шалимов разделил остаток денег между всеми поровну.

Само собой разумеется, итти мы решили по направлению к Советской России.

Если первая ночь пройдет благополучно, мы снова объединимся в одну группу и будем пробираться все вместе. Двигаться решили по ночам с тем, чтобы с рассветом, когда на дорогах начинается движение, укрываться в каком-нибудь укромном местечке. Хлеба забирали с собой два килограмма. Этого количества нам должно было хватить на двое суток.

Смешно было рассчитывать на то, что мы за двое суток дойдем до нашей границы, местонахождение которой вряд ли ясно себе представляли.

Но тогда об этом как-то не думалось.

Ровно через десять минут после девяти часов мы вошли в уборную и расположились около деревянной стенки.

Решительный момент наступил.

Я переглянулся с Петровским и Шалимовым, и мы одновременно локтями нажали на одну из досок в деревянном заборе, окружавшем лагерь.

Доска с гулким стуком упала на землю. Этот стук испугал нас, мы вздрогнули. Ждали, что по нас тотчас же начнут стрелять. Но медлить нельзя, каждая секунда была дорога.

За первой доской упала вторая. Мы выбрались за перегородку, жадно глотнули воздух. Петровский выхватил из-за пазухи драгоценные ножницы, которые должны были завоевать нам свободу, и начал поспешно резать ими проволоку.

Мы напряженно следили за каждым его движением. Нам не хотелось даже оглядываться назад — боязно было. Моментами казалось, что за спиной

уже стоят польские солдаты, насмешливо наблюдая за нашей бесполезной работой.

Кругом мертвая тишина, слышно только прерывистое дыхание Петровского.

Он не резал, а буквально разрывал проволоку пальцами. Ножницы двигались в его руках, как тиски, и после каждого нажима разорванная проволока падала, а мы продвигались потихоньку вперед. Дошли наконец до последнего ряда проволоки.

Эх, держись, сердце, не стучи так громко!

В тишине особенно отчетливо доносятся до нас крики из лагеря: там, очевидно, как всегда, после ужина расправляются с пленными.

Еще раз нажимает Петровский руками ножницы — и четвертый ряд проволоки перерезан.

Мы выходим в поле.

Какое счастье!

— Товарищи, все ложитесь на живот, двигайтесь ползком, — шепчет Петровский.

Мы ползем вперед по сырой земле до канавки, как ящерицы, легко и бесшумно. Все ближе и ближе подползаем к пустым баракам, но они также, к нашему удивлению, окружены рядами проволоки.

И снова выступил вперед Петровский, и снова началась его борьба с железной паутиной, преградившей нам неожиданно путь к бегству.

— Есть! Перерезаны все четыре ряда, — шепчет Петровский.

Мы проходим мимо бараков, делаем несколько шагов и снова натыкаемся на новые четыре ряда проволоки, но зато за ними — поле, лес, свобода.

Петровский приступил к борьбе с последними рядами проволок. Но вдруг он замялся и стал глухо ругаться.

Мы затихли.

— Что там еще случилось?

— Ножницы не выдержат, больно тягучая проволока, сейчас сломаются, гнутся в руках, — в волнении хрипит Петровский.

Тихо и жутко, как в могиле. В бараках, вероятно, уже улеглись. Гулко разносится наш шопот. Переговариваясь, мы понижаем голос до того, что сами друг друга не слышим. Каждый шорох тревожит, заставляет ждать нападения.

Инстинктивно сжимаем кулаки, стискиваем зубы и чувствуем, что, если кого-нибудь из нас сейчас попробуют вернуть силой в лагерь, будем драться, пока нас не пристрелят.

После всего пережитого, после надежд, которые мы связывали с нашим побегом, — сдаться?

Нет, ни за что! Лучше смерть, чем провал нашего замысла!

Но до свободы еще далеко: в поле нашего зрения — будка часового, которая отстоит от нас на расстоянии не более пятидесяти шагов.

Петровский принимается за работу. Разрезан один ряд, мы подползаем к другому. Петровский с ожесточением нажимает ножницы, и концы перерезанной проволоки второго ряда падают на землю. Долго возится с третьим рядом, затем трагически, шопотом бросает нам:

— Ножницы сломались! Как быть!

— Возьми нож, — говорит Сорокин, — перепиливай остальные два ряда.

Петровский пилит проволоку. Налег изо всех сил и перервал руками еще один ряд. Остался последний.

— Петька, — говорит он, — придвинься ближе и держи концы.

Я быстро пригнулся и ухватил проволоку. Петровский начал резать ее ножом.

— Гни, в сторону, вот так,

Я делаю мучительные усилия, чтобы помочь ему. Наконец последняя проволка перерезана.

— Ребята, двигайся тише, опять ползком.

Ползем, как черви, извиваясь и прижимаясь к земле.

— Ребята, вставай, надо бежать побыстрее, как бы нас не хватились.

— Товарищи, будем придерживаться намеченного плана, — начал свое быстрое напутственное слово Шалимов. — Сейчас направление держим на северо-восток. Помните, при провале — друг о друге не знаем. Побег устраивали отдельно, друг от друга скрывали. Днем будем лежать вместе, первую ночь пойдем врозь, а затем сообща пойдем. Будьте здоровы.

— А ты, Петя, держись ближе ко мне, — сказал Петровский.—Предупреждай, когда не сможешь итти. Ну, вперед, товарищи!

Крепко пожали друг другу руки. Несколько секунд торжественного молчания, в течение которых мы почувствовали, как крепко спаяла нас жизнь в плену.

Мы бросились бежать по направлению к северо-востоку.

Каждый из нас вздохнул свободнее: мы выбрались из калишского ада.

Но трудности только начинались. Легко было сказать — держать напоавление на северо-восток, но как опоеделить его без компаса, в темноте, не имея возможности дожидаться восхода солнца. На небе не было ни луны, ни звезд. Тьма кромешная.

Мы быстро бежим. Болит все тело, кружится голова, сеодце плохо работает.

— Петровский, посидеть бы, — прошу я.

— Устал? — сочувственно обращается он ко мне.

— Да, что-то тяжело.

— Ну что же, давай тогда посидим. Пока идет удачно. Наверное, сейчас скурве сыне бегают по лагерю, ищут нас, ругаются и всыпят нашим товарищам телефонной проволокой с досады. Надо же им отыграться.

— Еще не спохватились, — сказал я, — иначе мы слышали бы выстрелы.

— Да мы еще не так далеко ушли, чтобы они, при желании, не могли нас догнать.

Скоро раздалось несколько гулких выстрелов.

— Наверное, ищут нас, — нервно бросил Петровский. — Идем скорее, сейчас начнется погоня. Петя, милый, подтянись, собери все силенки. Там подальше отдохнем.

— Идем, идем, — говорю я, — теперь я уже ничего, передохнул, могу опять бежать, как рысак.

Шутка моя мало соответствовала действительности, потому что я чувствовал, что едва ли смогу дальше так резво передвигаться. Но я не имел права в такой ответственный момент поддаваться охватившей меня слабости.

Мы несемся, как одержимые, боясь оглянуться. Нам необходимо отдалиться на почтительное расстояние от калишских бараков.

В темноте часто спотыкаемся, падаем, иногда больно ушибаемся, но, не чувствуя боли, несемся дальше. Обращать внимание на это не приходится.

На коротких привалах в лужах промываем раны на ногах.

Петровский пытается иронизировать:

— Ничего, до свадьбы заживет, от телефонной проволоки крови больше было.

Воспоминание о наших мучителях-конвоирах подстегивало нас, как кнутом, и мы, сокращая минуты отдыха, пускались опять в поспешное бегство.

Сорокин как-то в лагере размечтался — предло-

жил уговорить конвоира бежать с нами в советскую Россию.

Мы подняли его насмех...

Была необычайная жестокость в их обращении с нами. Они не были тюремщиками: в последних есть профессиональное спокойствие; они не были палачами: палач если и истязает жертву, то все же приканчивает ее. Они были непонятным для нас явлением,— мы не понимали, откуда берется такая неутихающая ненависть. Так мстят крестьяне конокрадам.

Что потеряли они, эти окопавшиеся в тылу молодые люди, и что думают они таким путем вернуть? Я задумываюсь на бегу над этим вопросом. Хорошо зная жестокость наших конвоиров, я ясно сознавал всю опасность провала нашего побега.

Бежим мы всю ночь. Рассвет — и мы в ужасе обнаруживаем, что бежали не на северо-восток, а на запад, то есть продвигаясь в глубь Польши, в том направлении, откуда мы убежали.

Я начинаю дико ругаться.

— Ведь мы идем в совершенно обратную сторону, — говорю я Петровскому.

— Неужели? — недоумевая, спросил он.

— Конечно, — ведь солнце всегда восходит на востоке, а заходит на западе. Посмотри на солнце,— мы движемся на запад. Как же так?

— Очевидно, мы заблудились.

Мы стоим грустные и подавленные случившимся.

— Что же это такое? Выходит, что всю ночь мы кружились на одном месте! — пробормотал в отчаянии Петровский.

Мы решили, что сегодня же выправим положение, а пока необходимо подумать о том, где бы пристроиться на день.

— Стало быть, Шалимов, Сорокин и Грознов пошли в правильном направлении, на северо-восток,

а мы заблудились, — сказал Петровский.—Какие же мы с тобой идиоты! Как же нам быть сейчас? — и он вопросительно повернулся ко мне.

— Ну что же, — попробовал я его успокоить. — Надо отыскать стог скошенного хлеба или соломы, лечь в него и пролежать весь день, а ночью двигаться. Утро вечера мудренее!

— Какое утро! — возражает Петровский. — Ведь мы утром прячемся и спим. Для нас с тобой ночь заменила день. Стало быть, ночь утра мудренее.

Я не возражаю против этой существенной поправки.

Отойдя с версту в сторону, мы находим высокую копну заскирдованной соломы и быстро шагаем к ней.

— Надо обязательно взобраться наверх,—сказал я Петровскому.

— Да как же туда взлезешь? — нерешительно произнес Петровский.—Уж больно высоко. Ведь в циркачах мы с тобой не были.

Около скирды, к счастью, нашли длинный шест.

Мне, в моей практике пастушонка, часто приходилось взбираться на скирды, чтобы разыскать забредшую за холмы овечку. Несмотря на слабость, я без особого труда вскарабкался по шесту на скирду.

Но с Петровским было хуже: здесь ему как раз помешал вес. Он несколько раз делал прыжки и, как мешок, падал обратно на землю, едва добравшись до половины скирды. Наконец, после долгих усилий и не без моей помощи, он тоже взобрался наверх.

Зарывшись в солому и устроившись поудобнее, вздохнули свободно.

Вдали чернели очертания какого-то поселка.

— Это, наверное, наш лагерь виднеется, — сказал Петровский.

— Не может быть. Ведь мы целую ночь шли. Неужели мы не отшагали и двадцати верст?

— Да ведь мы шли не туда, куда надо, вот и очутились опять возле лагеря,—подумав, сказал он снова и на этом открытии успокоился.

Съели по куску хлеба и скоро заснули крепким сном.

Я проснулся первым, открыл глаза.

— Митя, ты спишь?

— Нет, уже не сплю. Близится вечер, и мы скоро двинемся в путь.

Стало быть, мы проспали около десяти часов.

Петровский поднялся и стал изучать местность.

— Петька, — сказал он, — посмотри на заход солнца и определи, куда нам надо сейчас итти. Ты ведь теперь у нас астроном.

Съели еще по куску хлеба, полежали.

Наконец Петровский поднялся, расправил свои широкие плечи, поднял меня высоко и, шутя, пригрозил сбросить на землю. Он пополз к краю скирды, а оттуда покатился на землю.

— Живей, живей! — кричит он мне. — Как бы нас не заметили.

— Итак, в путь!

Шагаем мы довольно быстро. Примерно через час перед нами вырастает какая-то деревенька. Надо ее обойти. Взяли немного в сторону.

Вдруг замечаем, что к нам приближаются две фигуры.

— Конечно, солдаты, — сказал Петровский.

Мы быстро перемахнули через ближайший плетень и притаились.

Тени принимают реальные очертания мужчины и женщины. Даже в августовской темени в их внешности нет ничего воинственного.

— Мирная, влюбленная парочка,—сочувствующе, почти отеческим тоном произносит Петровский.— А я уже нож приготовил на всякий случай. Все же

некстати принесла их сюда нелегкая. Нашли бы другое место для любовных воздыханий.

Парочка располагается по соседству от нас на скамейке.

Мы лежим и испытываем чувство неловкости за свое невольное соглядатайство.

Лиц влюбленных не видно. Они сперва сидят молча тесно прижавшись друг к другу. Ее голова доверчиво склонилась к нему на плечо. Начинается поток тихих жалоб. Беседа происходила на польском языке, но смысл ее нам понятен. Девушка (зовут ее Зося) рассказывает о возобновившихся приставаниях управляющего фольварком [1] и умоляет Стасика поторопиться со свадьбой. Пан Аполлинарий (управляющий) грозится донести войту [2], что ее родители сочувствуют большевикам, что она, Зося, с комиссаром ихним во время недавнего и кстати очень недолгого постоя хороводилась, а она и в помыслах этого не имела. Что ей теперь делать? Этот лайдок [3], пся крев, на все способен. Стась должен ей помочь и так далее.

Парень горячо уверяет ее в своей любви, обещает вскоре все уладить, как только накопит немного денег. В солдаты его, Стася, не возьмут, у него одна нога короче другой. А большевики вовсе не такие страшные. Они у панов землю отобрали, мужикам отдали. А рабочие,—ну такие самые, как Зосин дядя, который в Лодзи проживает,—так в России министрами и губернаторами заделались. Еще заводы от панов фабрикантов отобрали, и чтобы жениться, не надо ходить к ксендзу-пробощу [4].

Сидя в своей засаде, мы чувствуем, что необходимо на что-то решиться. Дожидаться, пока Зося и Стась вдосталь насытятся беседой, значит—упустить

[1] Помещицья экономия. [2] Деревенский староста. [3] Негодяй. [4] Благочинный.

драгоценное время. А нам ведь необходимо заняться исправлением ошибок, допущенных во время вчерашнего маршрута.

Петровский, не говоря ни слова, шумно раздвигает кусты и во весь свой гигантский рост неожиданно предстает перед ошеломленной парочкой.

Вслед за ним выползаю я.

Стараясь быть как можно галантнее, он приступает непосредственно к объяснениям, перемежая свою русскую речь отдельными польскими словами.

— Пше прашам, панове[1]. Прошу вас не мувить[2] ни звука. Сохраните полное спокойствие. Вшистко едно[3] вам отсюда не удрать. Мы — не бандиты, як то по-польски... не разбойники. Мы — большевики.

Стась и Зося, бледные и перепуганные, неподвижно смотрят на нас, вероятно, похожих на обычно изображаемых персонажей с дико всклокоченными бородами (нехватает только кинжалов в зубах).

— И так, нех пан бендзе ласков (не будет ли любезен пан) сообщить, где мы находимся,—продолжает Петровский, обращаясь к парню, к которому постепенно возвращается дар речи.

— А не скажет ли пан, как нам добраться скорее до своих и где находится сейчас линия фронта?

— В двадцати верстах от Калиша,—следует ответ.

Стась и молчаливая до сих пор Зося наперебой стараются нам растолковать, как и куда нам следует сейчас итти.

Парень отдает великодушно свой кисет с табаком и долго пожимает нам руки.

Девушка быстрым движением вынимает из-за пазухи носовой платочек, развязывает узелочек и застенчиво протягивает нам смятую кредитку.

Стась, не желая оставаться в долгу перед неве-

[1] Прошу извинения, господа. [2] Говорить. [3] Все равно.

стой, вытряхивает в могучую пятерню Петровского содержимое своего кошелька.

Мы торопливо прощаемся с новыми друзями.

Петровский на всякий случай просит их ниц (никому) не мувить о москалях-большевиках, потому это... Тут он делает выразительный жест, понятный без слов.

Обогнув деревушку, снова шагаем вдоль обочин, растроганные несколько необычайной в этих краях встречей.

В темноте скирды неубранного хлеба встают пугающими громадами. Августовская прохлада дает себя чувствовать. Одеты мы не по сезону. Особенно ненадежна наша кустарная обувь работы Грознова, выдержавшая только одну ночь пути.

Шли мы до тех пор, пока не показалось на небе зарево восходящего солнца. Нашли скирду, взобрались наверх, так же, как и накакнуне, вырыли яму и легли спать.

Правда, на этот раз я долго не мог заснуть: запас хлеба был съеден, мне зверски хотелось есть.

— Ну, Петька, как чувствуешь себя? — спросил меня днем Петровский.

— Ничего, только жрать хочется.

— Ну, брат, терпи, не раскисай, сегодня попытаемся найти съестного.

В мечтах о еде лежим до наступления темноты. Подымаемся и расправляем затекшие члены. Вдруг Петровский быстро пригибает меня к соломе и сам тоже ложится.

— Сюда идут...—шепчет он мне.

Проходит минут двадцать. Мы не решаемся выглянуть, но все считаем, что беда миновала.

Неожиданно слышатся голоса. Совсем близко.

Мы не понимаем, о чем говорят внизу.

— Очевидно, деревня близко, — говорю я шопотом Петровскому.

Прислушиваемся. Внизу как будто никого нет, но странно непонятно пахнет гарью.

На небе появляется звездочка.

Голод клонит к дремоте. Если смотреть далеко в небо, на звездочку, она начинает подмигивать. К глазу тянется от нее золотая нить. От глаза до звезды — весь безбоежный мир.

Чувствуешь себя легким и прозрачным, вот-вот сольешься с эфиром и взлетишь высоко.

Петровский вдруг резко вскрикивает, забывая о всякой предосторожности:

— Петька, глянь, снизу дым валит!

Мы перегибаемся через край стога: у подножья его весело полыхает пламя.

— Кубарем с другой стороны! — кричу я Петровскому и стремглав скатываюсь вниз.

На меня налетает Петровский, перекатывается через меня, и начинается бешеная гонка. Сердце готово выпрыгнуть из груди, в ушах — звон, в глазах — искры.

Мы бежим, как одержимые, лишь бы скорее уйти от этого факела в поле.

Я больше не могу поспевать за Петровским и падаю на землю. Он пробегает несколько шагов по инерции и возвращается ко мне.

Мы теряемся в догадках: почему подожгли солому? Потому ли, что за нами проследили и решили нас сжечь живьем, или поджог был вызван причинами, не имеющими никакой связи с нами?

Мы склонны были принять последнюю версию. Если имелось в виду выкурить нас, то зачем понадобилось поспешно бежать после этого?

Вероятно, раздоры между двумя дворами зашли так далеко, что одна сторона решилась отомстить таким необычайным способом. Случаю угодно было толкнуть нас на ночлег именно на этой скирде.

Отдышавшись, мы двигаемся вновь. Долго пробираемся, старательно обходя деревню.

«Только бы не вспугнуть собак, — думает каждый из нас,—иначе беды не оберешься».

Вправо от нас на дороге неожиданно что-то зачернело.

Не сговариваясь, мы, вместо того чтобы обойти жилье, как делали это в первые дни, идем по направлению к нему.

Нас гонит голод...

Это—мельница-ветрянка, растопырившая крылья подобно летучей мыши.

— Раз мельница, значит, должна быть и мука, — говорит Петровский и подходит к двери.

Она оказывается запертой.

— Кто-нибудь, вероятно, есть на мельнице, — говорю я.

Петровский изо всей силы нажимает плечом на дверь. Она не подается. Тогда он стучит в дверь кулаками.

Ответа нет.

— Ну-ка, Петька, — предлагает он мне, — давай нажмем вдвоем, собери силенки. Ведь за стеной лежит мука, стало быть, поедим.

Мы вдвоем наваливаемся на дверь, и она наконец подается. Входим внутрь. На полу несколько мешков муки. Недолго думая, развязываем один из них: в мешке овсяная мука. Развязываем другой, третий — то же.

— Все равно, — говорю я, замечая разочарование Петровского, — какая есть, всякую будем жрать...

— Погоди, — прерывает Петровский, — мне пришла в голову идея.

Он высыпает муку на пол, а опорожненные мешки берет с собой.

— На всякий случай, пригодятся, — улыбается он. — Можем потом из мешков портянки сделать или на себя во время дождя вместо плаща набросить.

Вышли мы из мельницы с тремя пустыми мешками, а в четвертый насыпали фунтов десять овсяной муки.

Шагах в ста от мельницы увидели колодец с журавлем. Не соблюдая никаких мер предосторожности, напрямик направились к нему.

Появилось какое-то равнодушие ко всяким неприятным случайностям, с которыми мы могли столкнуться каждую секунду: ведь мы как-никак шагаем по польской деревне после того, как только что провели ограбление мельницы, да вдобавок, может быть, заподозрены в поджоге скирды соломы. Если бы крестьяне накрыли нас, над нами был бы учинен жестокий самосуд.

Ведро привязано у колодца к шесту.

Сначала мы пьем, потом выливаем воду из ведра, оставив в нем лишь небольшое количество. В воду насыпаем овсяной муки, взбалтываем; получается какое-то месиво вроде теста.

Берем по большому куску этого добра и двигаемся дальше, предварительно оборвав ведро с шеста и бросив его в колодец. На ходу отрываем куски теста и глотаем его, но оно не так легко лезет в горло: хочешь проглотить, а оно липнет к небу.

Однако с голодом шутки плохи.

К утру мы опять зарываемся в скирду соломы и ложимся спать. Но и во сне нас тревожат мысли о Сорокине, Грознове и Шалимове. Где они, что могло с ними случиться? Не арестованы ли они, не расстреляли ли их? Суждено ли нам будет еще встретиться?..

Мы жалеем о том, что разделились на две группы.

В эту «ночь» (день) сон долго к нам не приходит.

Болит желудок, упорно отказывающийся переварить болтушку из овсяной муки. Жажда невероятная, а спускаться со скирды и искать воду рискованно: скирда близко к дороге, и мы можем влипнуть, тем более, что нас несомненно ищут владельцы ограбленной мельницы.

В четвертую ночь нашего путешествия мы решили не только пройти обычную норму—два-три с половиной десятка верст,—но и добыть себе продовольствие, иначе мы не в состоянии будем двигаться дальше.

Глядим по сторонам: авось, увидим хутор.

Журчит вода. В темноте бежит ручей.

Мы направляемся вдоль берега. Впереди что-то шумит.

— Похоже на то, что мы приближаемся к водопаду, — говорит Петровский.

Поднимаемся вперед. Шум все усиливается. Перед нами низкое строение необычайной конструкции. В одном из его углов виден свет.

— Нападем врасплох, — предлагает Петровский, создадим панику и получим все, что нужно.

План нападения был тут же наскоро намечен. Он состоял в том, что Петровский ворвется в помещение, а я, оставаясь на улице, должен буду поднять шум и этим создать впечатление, что нас не два человека, а целый отряд.

Мы хотели в случае удачи взять не только хлеб, но и обувь и одежду, ибо мы истрепались и внешний вид выдавал нас с головой.

Мы шли на эту авантюру с той же легкостью, как и тогда, когда, высадив дверь, ограбили ветряную мельницу. Мы перестали считаться с условностями: думали не об «этичности» поступка, а о том, насколько он безопасен. Мы имели право ночью делать все, что вело к нашему спасению и свободе.

Осторожно двинулись вперед. Я увидел, как Петровский, не медля, нажал плечом дверь; она с треском отскочила. Он ворвался внутрь, а я поднял шум снаружи, стараясь кричать разными голосами и выбирая из ассортимента польских ругательств самые звучные и сочные.

Петровский долго не показывается. Не случилось ли чего с ним?

Я тихонько прильнул к окну и увидел Петровского мирно разговаривающим с неизвестным мужчиной.

Я решил войти внутрь, но навстречу ко мне уже шел Петровский.

— Петька, не шуми. Здесь никого нет. Только один хозяин с семьей.

— А что это за здание?

— Маслобойный завод, — пояснил Петровский.— Иди скорее. Дадут молока и хлеба, а может быть, и обувь.

Когда мы вошли внутрь, хлеб и молоко уже были на столе, а на лавке лежала старая одежда и обувь. Мужчина средних лет на ломаном русском языке что-то говорил нам, но мы плохо его слушали. Приставили стол к двери, загородив вход, и принялись за молоко и хлеб.

В течение нескольких минут мы без труда одолели буханку хлеба и выпили все молоко. Поев, неспеша стали переодеваться.

Я натянул на себя какой-то старомодный армяк, а Петровский нарядился в поношенное пальто с бархатным воротником. Мы обменяли также свои изношенные шапки на какие-то фуражки и приняли вид обносившихся провинциальных актеров, бредущих в поисках работы. Наши мешки завернуты в бумагу.

Мужчина принес откуда-то еще полхлеба и дал нам на дорогу. Видимо, его очень напугал наш бандит-

ский вид, и он не ожидал, что так благополучно отделается от нас.

Выйдя из избы, мы бегом бросились в сторону от маслобойни, держа путь на северо-восток.

С полдня до самого вечера непрестанно лил дождь. Мы продрогли до костей. Укрыться было негде. Мешки, служившие нам капюшонами, вымокли до последней нитки.

Почва превратилась в густую кашеобразную массу.

Что бы мы делали сейчас, если бы перепуганный владелец маслобойни не снабдил нас обувью и одеждой?

Мы призываем благословение пана Езуса христа и святой Марии Ченстоховской, покровительницы этой страны, на голову почтенного старика, с которым мы расстались почти дружески.

Петровский мрачно острит:

— Я начинаю становиться верующим. Посуди сам: тут без вмешательства небесных сил не обходится. К нам определенно благоволит господь-бог. Во всех наших приключениях явственно виден перст провидения, которое сочувствует большевикам, пробирающимся в свою обетованную землю...

Петровский, поеживаясь и чертыхаясь, хочет призвать на помощь свою эрудицию в божественных вопросах, но продолжительный кашель прерывает нить его мыслей. Он устало машет рукой и говорит:

— Чорт с ним! Я не возражаю против этого. Боженька — славный старичок. Душевный. Пусть себе над нами держит шефство. Мы, яко птицы небесные, ни сеем, ни жнем, а шамать нам, к сожалению, нужно. Да разверзаются пред нами почаще гостеприимные двери. Да расточатся врази его. Нет, не его, а наши. Да искоренены будут все супостаты. Аминь.

Последние фразы он произносит нараспев протодьяконовским басом, заглушаемым шумом дождя.

— А знаешь, Петька, я когда-то на клиросе неплохо пел...

Неторопливое шлепанье колес по грязи и понуканье возницы мгновенно определяют наш дальнейший план действий.

Мы вскакиваем на телегу, произносим короткие слова приветствия и от дальнейшего собеседования с подозрительно оглядывающим нас хозяином отказываемся. Наши познания в польском языке все-таки очень ограничены. Как бы не засыпаться.

Мы даже не в состоянии ответить, куда мы направляемся. Вшистко едно. Них шановный пан не беспокоится!

Доезжаем до ближайшей деревни, благодарим нашего благодетеля и под покровом темноты стремительно направляемся дальше.

Прошли несколько километров. Голод и усталость дают себя чуствовать. К тому же мы оба здорово простужены. В ботинках хлюпает вода. Мы насквозь промокли.

Небходимо сделать привал, просушить одежду, соснуть хотя бы для того, чтобы заглушить муки голода.

Вдали чернеют силуэты деревьев.

Мы вступаем в лес. Здесь — тишина. Пахнет прелью.

Петровский оживляется и энергичным шагом двигается в сторону от дороги, увлекая меня и на ходу рисуя заманчивую перспективу отдыха. Под развесистою сенью дуба, разворошив прошлогодние листья, мы устраиваем подобие ложа. Сухие сучья весело потрескивают. Густой пар от пропитанных водой вещей смешивается с едким дымом костра.

— Хорошо бы вскипятить чайник и выкурить по

папироске, — мечтательно говорю я, глядя на своего друга, как будто от него зависит решение этого вопроса.

Он сочувственно поплакивает. Скоро густой храп, прерываемый надрывистым кашлем, возвещает об отходе Петровского в царство снов.

Я с нежностью гляжу на его исхудавшее лицо. Две суровые складки резко замыкают линию энергичного рта.

Что бы я делал, если бы не было со мной этого железного, несгибающегося под ливнем злых невзгод человека?

Я осторожно накрываю его своим пальто и подкладываю в огонь несколько веток.

Тело мое ноет, голова пылает, во рту разлита сухая горечь. Я лежу на животе, оцепенело глядя на трепанные языки пламени.

«Так можно и умереть — думаю я. — А ведь жизнь только начинается, ведь только добраться до своих—и снова работа и борьба. Неужели не выберемся из плена?»

Вспоминаю: в далеком детстве заберешься на дощанике на озеро, подымется ветер, и начинаешь гадать: выберешься или не выберешься? Наляжешь на весла и все же потянешь тяжелый дощаник до берега. Самого себя после такого подвига начинаешь уважать.

С малых лет был самостоятелен. Село наше суровое, и природа вокруг суровая: известно — Олонецкая губерния. Погиб отец в снежную вьюгу вместе с лошадью. Забрала меня мать из школы, а с весны отдала пастуху в подпаски. Выгоним скот пастись, ляжет старик спать, а меня вместо себя оставит. Местность наша бедная, травы мало, разбредется скот по горелому, — знай только, беги собирай. За-

блудится коровенка — пастух шкуру сдерет, да и на деревне не помилуют.

Пастух был нелюдимый, одинокий человек, и я научился самостоятельно продумывать все вопросы, которые возникали вокруг того, что — как это случилось: у нас в избе жрать нечего, а у старосты изба крыта железом, а в избе портреты и самовар?

Мать говорила, что «бог дает», но этот ответ не разрешал моих недоумений.

Школьный учитель все жалел, что я не доучился, и давал мне книжки читать. Залезешь, бывало, на камень, накроешься мешком от солнца, а сам читаешь. В подпасках я ходил года четыре и за это время у учителя все книги перечитал. Мужики так и звали меня: «Петькь-грамотей». Я им письма писал, и они меня за это уважали. На работу стал — не до книг было.

Было мне годков восемнадцать. Приехал к нам новый учитель. Попросил я у него в праздник как-то книгу. Он внимательно посмотрел на меня и вынес «Записки охотника». Я сказал ему, что эту книгу мне старый учитель уже давал читать. Расспросил он меня подробно, кто я да почему школы не кончил, и говорит:

— Приходи вечером, потолкуем. Авось, интересные книги найдем.

С тех пор и пошло. Меня и еще нескольких ребят из деревни учитель буквально переродил.

Деревня наша глухая, и отправили его сюда в наказанье. Был Сергей Петрович учителем в большом богатом селе на Волге, да не поладил с приехавшим инспектором, ну, и загнали его в нашу глушь. Привез он с собой книг много и все говорил, что без книг пропадем мы все. Мало того, что книги нам давал, объяснял еще, что в них на пользу народу, а что делается, чтоб сильнее опутать народ.

Двоих из нас, меня и Фролку, сильно полюбил Сергей Петрович. Прожил он у нас три года. За это время и я и Фролка очень развились.

Сергей Петрович говорил, что считает нас вполне надежными ребятами и что надо подумать о том, как нам быть дальше. По его мнению, мы во многом по развитию не уступаем среднему студенту.

Мы и сами чувствовали, что в деревне нам жить будет трудно, да и староста и крестьяне стали коситься на нас. Кроме того книги связали нас с целым миром, который лежал далеко от олонецкой деревушки, и вызвали в нас тягу к новой жизни.

Летом 1914 года была объявлена война. Учителя забрали. Начались тревожные дни.

Единственным человеком на деревне, получавшим газету, был поп. Называлась она «Русское знамя».

Мы читали в ней о наших победах. Цену этой газете мы знали — недаром Сергей Петрович потратил на нас уйму времени. Он научил нас разбираться в написанном. Мы сопоставляли прочитанное в газете с тем, что делалось вокруг нас, и понимали, что при блестящих победах не может быть таких бесконечных мобилизаций.

В нашем селе взрослое мужское население убывало с ужасающей быстротой. Не призванной осталась только такая зеленая молодежь, как я и Фролка, но поговаривали, что и нас забреют раньше срока.

Так оно и случилось. В 1916 году глубокой зимой забрали и меня и Фролку.

Перед отъездом решился я на отчаянный шаг: пошел к старосте и сказал ему, что если мать без меня тут с голоду помрет, то сожгу всю деревню, если вернусь живым.

Время было уже не то, что раньше. Урядник в деревню и заглядывать боялся.

Обругал меня староста сволочью, но все же пообещал, что мать подкормит.

Погнали нас из уезда в губернию, а там в Питер. Были мы ребята грамотные: попал Фролка в самокатную роту, а я в артиллерийский тяжелый дивизион.

С этих пор собственно и началась моя сознательная жизнь. Парнишка я был смышленый, и служба мне давалась легко. Трудно было поначалу привыкнуть к казарме, но ребята оказались хорошие. Многие из них были из больших городов, с крупных заводов, и в казармы пришли не безусыми новобранцами, а людьми, многое на своем веку повидавшими.

Продержали нас в Питере около восьми месяцев, а потом погнали на фронт.

Питер и товарищи обтесали меня.

Ехал я на фронт, как и мои товарищи, с одной мыслью: при первом удобном случае повернуть штыки против самодержавия.

Надо сказать, что и офицеры наши ехали на фронт тоже не особенно охотно, но спайки между нами не было. Не доверяли им ребята.

Погнали нас на Юго-западный фронт, но пока мы получили назначение, началась Февральская революция. Наехало на фронт народу видимо-невидимо. Митинги без конца: продолжать войну или мириться с немцами?

В артиллерии многие стояли за продолжение войны. Солдатские массы недружелюбно относились к специальным войскам, и мне было тягостно, что это отношение имело под собой почву.

Провалилось знаменитое наступление Керенского. Положение становилось очень напряженным.

Рядом с нами расположили полк, отказавшийся наступать и выведенный командованием из окопов. Полк разоружил офицеров, и никакие уговоры не могли заставить солдат подчиниться.

У нас говорили, что полком командует большевик и солдаты не выдают его, несмотря на угрозы расформировать полк.

Группой в несколько человек мы отправились к соседям. Там шел митинг. Выступал офицер. Он говорил, что солдат обманывают, что в России нет классов, а есть только русские люди, и что вся неурядица на фронте выгодна немцам и делается немцами. Говорил он очень искренно, и в отдельных группах его слова поддерживались возгласами: «Правильно, правильно!»

После него выступал молодой человек в форме Земского союза. Ему тоже кричали: «Правильно!».

Потом вышел солдат. С первых его слов я насторожился. Он говорил, что в войне, во всякой войне, кроме гражданской, выигрывают только буржуазия и дворяне. Не надо бояться слова «буржуй», как не надо думать, что это слово занесли на фронт немецкие шпионы. Оно означает — эксплоататор, тот, кто живет чужим трудом. И дальше простым, доступным языком он объяснил, какие классы имеются среди русского народа и почему большевики предлагают рабочим и крестьянам прекратить войну и пойти войной против класса эксплоататоров. Его выступление было дружно поддержано солдатами.

В этих словах было много сходного с тем, чему нас учил Сергей Петрович. Большая правда была в бесхитростной его речи. Он обрисовал положение рабочего класса и крестьянства при буржуазном правительстве.

Солдаты великолепно понимали, что их используют как пушечное мясо. Они недаром четыре года просидели в окопах: их сознательность пробуждалась медленно, но верно.

Собственно с этого момента я уже был близок к большевикам.

Демобилизационные настроения... Долгие, долгие дни возвращения домой...

Повидать мать, а там...

Работы много, только начинается.

Деревня, забытая, серая. Первая повстречавшаяся мне фигура — староста Иван Филиппович.

С места в карьер он мне презрительно говорит:

— Видал голытьбу, которая в управители лезет? Царя сбросили, бога неподобными словами поносят... Безбожники, грубияны!

— Бога? Царя?

— Да ты не переспрашивай, а пойди на эту голытьбу сам погляди. Ты что думаешь, что я на старости лет зря такие неподобные слова произнес? Послушай-ка, говорят: бог только для богатых. Тьфу ты, господи!

Я полюбопытствовал, пошел посмотреть на антихристов-безбожников. Отойдя несколько шагов от Ивана Филипповича, увидел толпу крестьян моей деревни: собрались старики, молодые парни и даже дети. На ступеньках крыльца у школы стоял какой-то человек, который горячо говорил речь. Меня встретили, пропустили в круг. Кто-то многозначительно шепнул:

— Из города комуния приехала. Говорят, совет организовывать надо.

Человек говорил убежденно и горячо.

— Рабочие города и крестьяне сбросили ярмо самодержавия не для того, чтобы служить фабрикантам и помещикам. Буржуазия вместе с Временным правительством хочет задушить, предать революцию. Наша задача заключается в том, чтобы организовать советы и отобрать у помещиков землю, у фабрикантов — заводы. Крестьяне должны помочь рабочим у себя в селах сделать то же, что сделали рабочие в городе.

Вскоре толпа волной двинулась к дому.

Приехавший товарищ взволнованно упрашивал крестьян действовать организованно. Он спустился с крыльца, бросился вперед и закричал:

— Товарищи, не надо насилий, нужно действовать разумно!

Повидимому, он боялся стихийных выступлений массы, наэлектризованной его речами. Но было уже поздно. Его никто не слушал. Толпа приблизилась к дому старосты.

Дом был огорожен палисадником, ворота выкрашены охрой, крыша покрыта железом: словом—изба хоть куда.

Иван Филиппович был крепкий мужик, настоящий кулак. Он десятки лет эксплоатировал всячески тех, кто обращался к нему за содействием.

Но в этот момент произошло какое-то замешательство, решимость действовать ослабела, и толпа остановилась.

Иван Филиппович не дремал; он сразу сообразил, что надо использовать момент и сказать что-нибудь такое, что резко изменило бы настроение.

— Что вам нужно, добрые люди? — начал он ласково. — Чего вы хотите?

Из толпы выскочил парень с рыжими волосами— Фролка, мой старый товарищ. Он открыл калитку палисадника, подбежал к дому старосты и начал взбираться на крышу. Толпа впилась в него глазами. Достав рукой прибитую к углу крыши доску с надписью «Сельский староста», он одним резким движением сорвал ее, спрыгнул на землю и весело крикнул в сторону Ивана Филипповича:

— Вот мы зачем пришли, старичок благообразный! Довольно над нами измываться, довольно кровушку нашу пить!

Толпа одобрительно загудела.

Иван Филиппович почувствовал, что ему надо смыться, иначе придется худо. Улещать некого было, уж больно много ненависти накопилось у крестьян за время невозбранного владычества старосты.

Фролка вновь крикнул Ивану Филипповичу:

— А вот погляди, что мы сделали с сельским старостой!

Он с ожесточением размахнулся и разбил доску о колено.

— Долой буржуев, да здравствует советская власть! — кричали парни из толпы.

Так произошел у нас переворот.

Мы окружили приехавшего из города товарища, и началась дружеская беседа. Он нам просто и тепло рассказал, что партия командировала его в деревню для организации совета.

Узнав, что я только что вернулся с фронта и целиком на стороне большевиков, он сказал мне, что медлить нельзя: надо сейчас же созвать сходку и устроить выборы в совет.

Село недостаточно разбиралось в том, что говорил оратор, но большинству было ясно, что власти старосты, урядника и исправника пришел конец.

Мы понимали, что наше освобождение надо как-то закрепить, а для этого следовало всем объединиться и делать то, что советовал городской товарищ.

Первое публичное выступление. Я с горячностью убеждаю стоящих вокруг меня парней, что не надо терять ни одной минуты.

Открыли сход:

— Позвольте открыть собрание,—заявил приехавший из города товарищ.—Выбирайте председателя.

— Фролку Павлова и Никанора Смирнова! — крикнули из толпы. — Они ребята хорошие, в обиду мужика не дадут.

Все дружно подхватили:

— Никанора! Фролку!

— Ладно, товарищи, тише,—сказал наш оратор.

— Я голосую: кто за товарищей Павлова и Смирнова, прошу поднять руку.

— Все, все! — и над головами собравшихся поднялся лес рук.

— Кто против? — крикнул оратор. — Таких нет. Избраны единогласно товарищи Павлов и Смирнов. Прошу занять места в президиуме.

Городской долго объяснял селу цели и задачи советской власти, толково рассказал, как должны вести работу местные сельские советы, научил, как отобрать землю у помещиков, поделить ее между грудящимися крестьянами, как обратить помещичьи имения в показательные и культурные хозяйства, организовать трудовые коммуны.

Крестьяне слушали его, как зачарованные. Неужели все это правда?

Его речь лилась свободно, легко и плавно. Он говорил о лесных участках, советовал бороться с расхищением леса, указывал на необходимость добиться организации школы в деревне, причем всю эту работу рекомендовал вести так, чтобы были защищены надлежащим образом интересы бедняков.

Крестьяне одобрительно покачивали головами, перешептывались друг с другом, выкрикивали:

— Правильно, правильно!

Решено было выбрать в совет лучших мужиков.

К своему изумлению, я получил большее количество голосов и оказался избранным на должность секретаря сельсовета.

Так начала укрепляться советская власть в одной из далеких деревушек Олонецкой губернии. Мы твердо пошли по пути, указанному нам городским товарищем, забрали графское имение, отдали его группе бедняков, установили охрану леса, привезли бревна и собрались

с наступлением весны строить школу. Работа закипела.

Целыми днями мне приходилось разбирать крестьянские дела, намечать работу по будущему переделу земли и комплектовать коллектив для работы в бывшем имении графа Игнатьева.

Очень увлекся работой и Фрол. Собирался организовать ремонт дорог и тому подобное.

К осени с Мурманска повел наступление генерал Миллер, которому на помощь подходили финские белогвардейские отряды. События разворачивались стремительно. Над нами сгущалась гроза.

Все кругом забурлило. В каждой деревушке стали стихийно организовываться добровольческие отряды.

Мы с Фролом многому научились за истекшие месяцы нашего управления селом. Жадно читали газеты, доходившие к нам из города, убежденно проводили на деревне все то, чему научились от большевиков в совете рабочих депутатов, куда попадали во время своих приездов в город.

Когда мы с Фролом осознали целиком опасность, которая угрожает революции в связи с наступлением поляков, мы решили, что надо итти в армию. К нам присоединилось еще семь передовых парней из нашего села.

Мы созвали сход, и Фрол предложил выбрать нового председателя.

— Мне драться надо на фронт итти, бить буржуев, — пояснил он.

Сход неохотно согласился на перевыборы. Избрали инвалида Егорку, у которого на царской войне оторвало руку.

Мы считали, что парень слабоват, но сознавали, что судьбы революции в этот момент решаются не в сельсовете, а на фронте.

Сход закрылся, все стали расходиться. Многим

было как-то не по себе. Молодежь привыкла к нам и неохотно отпускала.

На другой день вся деревня пошла провожать нас.

Из далекого глухого угла выехал на защиту революции небольшой отряд.

Мы не сомневались, что необъятная страна выставит несметное количество таких же, как мы, бойцов для защиты от врага, который шел восстанавливать власть помещиков и капиталистов...

. . . . . .

— О чем ты так размечтался, Петька? Брось хандрить. Ты, брат, здорово подался за эти дни: нос у тебя заострился, и стал ты похож на мертвеца, — пробудил меня от грез Петровский.

Я с трудом возвращаюсь к действительности.

Петровский глядит на меня с удивлением.

«Наша жизнь только начинается». Эту фразу произнес я, когда подъезжал на подводе из деревни Белый Ручей к уездному городку вместе с Никанором и Фролом, чтобы получить назначение на фронт.

Разве этот день моего приезда в город не был окружен такой же неизвестностью, как и сегодняшний день в канаве в Польше?

— Наша жизнь только начинается, — громко и уверенно произношу я, к удивлению Петровского.

— Ну ладно, пойдем, голодный мечтатель, — шутит Петровский.

Неизвестно, сколько километров мы прошли за пять дней, как далеко мы еще от границы и по каким признакам нам ориентироваться. Если в ближайший день нам не удастся установить, где мы находимся, то неизбежен провал.

На шестую ночь нашего путешествия мы опять очутились в лесу. Никакого жилья впереди не было видно. Я надеялся на то, что мы натолкнемся хоть на

какую-нибудь сторожевую будку лесника или объездчика.

Ясно было, что на хлеб рассчитывать в ближайшие часы нечего. Шли молча, подавленные, сумрачные. Тщательно выбирали тропинки. Ведь у нас не было никакой уверенности в том, что мы не плутаем по лесу, пересекая его в нужном направлении. Двигались мы механически, едва переставляя ноги, ни о чем не думая и ни на что не надеясь.

Мы уже давно не имели маковой росинки во рту, ослабели, во всем теле ощущали боль; нами владела одна неотступная мысль — о еде.

Неожиданно увидели на опушке сторожку. Не доходя до нее ста пятидесяти—двухсот шагов, наткнулись на спящего на земле оборванного, заросшего человека. Мы не заметили бы его совсем, если бы в своем стремительном движении к сторожке, к огоньку, мелькнувшему в непроглядной темноте, Петровский едва не упал, споткнувшись. Оказалось, он зацепился за спавшего на земле человека, который испуганно вскочил и бросился в сторону от нас. Петровский в три прыжка нагнал его, схватил за шиворот и, зажав ему рукой рот, спросил на ломаном польском языке:

— Кто ты такой?

Ответ последовал на великолепном русском наречии:

— Я не из здешних мест.

Изумленный Петровский выпустил его и стал вглядываться в нашего пленника.

— Да ты, брат, толком говори, откуда ты?

Я рванул Петровского за руку и сердито сказал:

— Чего ты орешь, ведь услышат. Вернемся-ка обратно в лес да расспросим его там, откуда взялся.

Так мы и поступили.

Оказалось, что мы наткнулись на одного из наших,

захваченного поляками в плен и так же, как и мы, бежавшего из лагеря. Он тоже ослабел от голода и свалился недалеко от сторожки, не разглядев ее в темноте.

— Ну что же, — развел руками Петровский, — шагай вместе с нами. Будем делить голод пополам.

Примкнувший к нам товарищ слабо реагировал на шутки Петровского. Он, видимо, был уже в таком состоянии, когда человеку все безразлично.

— Да, с ним далеко не уйдешь,—сказал Петровский.

Однако раздумывать над тем, какого спутника послала нам судьба, не приходилось.

— Пойдем, — бросил Петровский, — в этой избушке мы чем-нибудь разживемся.

Стучимся в дверь.

— Кого пан бог даст? — услышали мы голос за дверью.

— Нех пан отворже.

— Зараз, — раздался в ответ спокойный голос.

Через несколько секунд мужчина высокого роста с длинными усами предупредительно распахнул перед нами дверь и вежливо пригласил:

— Проше!

Нам даже не показался подозрительным этот ласковый прием ночью, в лесу. Мы стали плохо соображать.

Не успела за нами закрыться дверь, как навстречу выскочили трое вооруженных револьверами и яростно закричали:

— Ренки до гуры!

Я быстро обернулся: надеялся, что мы успеем выскочить через двери,—но увы, и у дверей уже стояли с направленными на нас дулами винтовок.

Нам предложили выйти на середину. Мы покорно повиновались. Начался допрос: кто мы, куда идем?

Мы не были подготовлены к таким вопросам, даже не условились о своем поведении, если попадемся.

Я понес небылицы, тут же пришедшие мне в голову. Но полякам не стоило большого труда сообразить, в чем дело.

— Не кламьте, холеры, вы — большевики. Наверное, удрали из лагерей?—сказал мужчина с длинными усами. — Не трудитесь втирать нам очки, мы тут стреляные, — продолжал он на русском языке. — Прямо, начистоту рассказывайте, что и как: вам же лучше будет.

Это было сказано настолько убедительно, что мы сразу почувствовали нелепость дальнейшего запирательства.

Они предложили нам сбросить с себя одежду, тщательно обыскали всех, забрали наш замечательный нож. После этого, связав нам руки, разрешили сесть на пол.

Мы поспешили воспользоваться этим разрешением, ибо ноги нас уже не держали: еще секунда, и мы свалились бы на пол, как мешки.

Мы попросили у поляков хлеба. Нам не отказали, а один из них принес даже воды, это уже было актом исключительной гуманности.

— Ну, а теперь спите, — сказал длинноусый, — мы вас охранять будем.

Мы переглянулись: мелькнула надежда обмануть бдительность наших стражей, притворившись спящими. Надеялись, что они, заперев дверь, сами заснут, а тогда Петровский единым махом высадит дверь, и мы убежим в лес, такой приветливый и желанный в эти минуты.

Решили не спать.

Наш новый спутник шопотом спросил меня:

— Кто они такие? Почему тут столько вооруженных людей?

— Вероятно, лесная охрана, — ответил я.

Но из разговоров охранявших нас людей мы вскоре поняли, что арестовали нас солдаты комендантской команды из местечка Стрелково, находившегося на границе провинции Познань. Команда выполняла какие-то служебные поручения и, возвращаясь в Стрелково, заночевала в сторожке. Эта случайность оказалась для нас роковой.

Хотя мы решили не спать, но не прошло и получаса, как всех нас, измученных и утомленных, свалил крепкий сон.

Наутро стража взяла нас, что называется, в работу и стала допытывать, из какого лагеря мы бежали. Но мы, отдохнув за ночь, стали мужественнее. К нам вернулась наша бодрость, и мы решили по возможности оттянуть наше признание. Мы категорически отрицали нашу принадлежность к Красной армии.

Длинноусый поляк ядовито посмеивался: видно, для него уже наше красноармейское происхождение было вне всякого сомнения.

Поляки решили взять нас с собой в местечко Стрелково. Были приготовлены три подводы, и под охраной пяти вооруженных солдат комендантской команды мы тронулись в путь.

Стали гадать, чем нас угостят по приезде: ударами шомполов и прикладов или плетьми из телефонной проволоки?

— А может быть, в Познани, — сказал Петровский, — телефонная проволока не такая, как в Калише, не будет так больно, когда будут драть.

Я молчал.

По дороге солдаты нас не били. Это удивляло, ибо шло вразрез с тем, к чему мы так прочно привыкли. Мало того, нам на каждой остановке давали есть.

Нашему изумлению не было пределов.

— Ну, наверное, в стрелковском лагере лучше живется, чем в Калише. Видите, какие замечательные люди наши конвоиры, — сказал нам новый спутник Николай.

Наше путешествие продолжалось три дня. На четвертый день мы приехали в местечко Стрелково, оказавшееся очень небольшим, но чистеньким. В самом центре его находился лесопильный завод.

Первое впечатление от Стрелкова было выгодным. Большинство населения составляли познанцы.

Оторванные насильственно от Германии, они не могли питать вражды к нам, преследуемым польской властью.

— Неужели здесь будут хорошо кормить? — рассуждал вслух Петровский.

— Не думаю, все лагери одинаково хороши, — ответил я.

— Так-то оно так, — согласился Петровский, — ну да нечего вперед заглядывать, посмотрим, теперь уже недолго: завтра, наверно, отправят в лагерь.

Подъехали к зданию, в котором помещался комендант. Нас сразу направили в помещение с решетками в окнах...

Семь дней свободы — и вновь комендатура...

Все начинается сначала...

Комендатура Вильно, Калиша, прибавляется комендатура Стрелкова.

Последняя ли?

4. Снова в плену.

Решетка отрезвила нас сразу. Конец мечтам — надо приготовиться к суровой действительности.

Скамеек в караулке не оказалось. Она была

сильно загажена, поэтому, для того чтобы сесть на пол, нам пришлось очистить угол.

Там мы уселись под иконой «матки боски», которая крепко держала на руках ребенка.

Петровский, стараясь нас развеселить, шепчет:

— Гляньте, ребятки, на мамашу божью: очи опустила, а дите так крепко прижимает, точно боится, что большевики его реквизнут.

Конвоиры сурово на него прикрикнули.

Пришел унтер-офицер.

Не любили мы эту породу.

Новый быстро окинул нас взглядом. Знакомится...

— Вставайте, холеры!

Опять два слова, за которыми обычно следует рукоприкладство.

Мы покорно поднялись: надо было готовиться к расплате за нашу дерзкую попытку бежать из плена. Ну что ж, дышали семь дней вольным воздухом — за это стоит нести ответ перед палачами.

За офицером вошли четыре солдата, все странно похожие друг на друга. Один из вошедших был с тетрадкой в руках, а трое с плетками, точно такими же, какие были нам хорошо знакомы по Калишу.

Сердце дрогнуло. Опять начинается!

Тут же в голове мелькнула мысль: почему у них у всех одинаковые плетки? Должно быть, готовясь к войне, мудрые польские интенданты заготовили заодно и эти плетки по стандартному образцу.

Я посмотрел на Петровского. Тот глядел на унтера сверху вниз. Казалось, он очень заинтересован бородавкой на носу унтера. Николай был бледен, как полотно.

— Кто вы, — сурово спросил нас унтер, — скурве сыне?

Это словечко нам было хорошо знакомо.

— Мы служащие одного виленского госпиталя.

Со всеми больными, находившимися в нем, взяты были в плен и привезены в Калиш. Оттуда решили уйти в Вильно: там у нас остались семьи, — врал я.

Так было заранее условлено между нами во время путешествия. Ответы эти мы тщательно продумали и взвесили. Если нам поверят, тогда есть крохотная надежда попасть в лагерь для гражданских пленных.

Я буквально не успел произнести последней фразы, как молниеносный удар по лицу сшиб меня с ног. Тут же один из солдат начал с невероятной быстротой наносить удары плеткой по спине.

Товарищи вынуждены были наблюдать расправу со мной, в ожидании того же.

Позже мне Петровский рассказал, что он сбился со счету, отсчитывая движения руки моего истязателя.

Оттого ли, что я отвык от порки (на это тоже создается привычка), или от слабости, которая явилась результатом долгого хождения по дорогам, но я очень быстро потерял сознание и был избавлен от печальной необходимости смотреть, как избивают моих товарищей.

Очнулся я от прикосновения холодной струи. Меня поливали из ведра, награждая при этом пинками в бок. Я буквально плавал в огромной луже воды.

В одном углу безжизненным трупом лежал Петровский, а в другом Николай.

Что с ними, не забили ли их до смерти?

Спросить однако не решаюсь: возле меня стоит другой солдат с плеткой в руке.

Она была в крови, в нашей крови...

— Холера, не сдех! — процедил он сквозь зубы и, презрительно плюнув в нашу сторону, вышел из комнаты.

Вслед за ним ушли остальные.

— Жив ли ты, Петька? — услышал я слабый голос Петровского.

Рыдания подступают к горлу. Я стараюсь овладеть собой. Мне стыдно перед Петровским, с усилием отвечаю:

— Ничего, покуда жив.

— А мы думали, что они тебя убили. Попало тебе так сильно, Петька, оттого, что ты оказался первым. Нам с Николаем дали только по двадцать пять. Болят у нас ягодицы, но это ничего. Ты, Петька, наверное, замерз, ведь они тебя, сукины сыны, водой отливали. Полезай сюда, я тебя своим пальто укрою.

Медленно подползаю к Петровскому. Он снимает свое знаменитое пальто с бархатным воротником, прижимает меня к себе, и мы молча лежим.

Надеемся, что до утра не будут нас трогать.

Через полчаса вновь приходят трое, и нас волокут в лагерь. Медленно, шатаясь как пьяные, с невероятными усилиями добираемся до места своего нового жительства.

У нас нет интереса к этому учреждению. Те же деревянные бараки и землянки, что и в Калише, также опутаны колючей проволокой.

Скорей бы лечь на нары.

У бараков женщины и дети. Догадываемся, что это интернированные жители из Литвы и Белоруссии. Их, очевидно, также считают военнопленными и применяют к ним тот же режим.

Приблизившись наконец к землянкам, остановились: один из сопровождающих направился для доклада к караульному начальнику.

— Що, холеры, утекли? — обращается к нам конвоир.

Я поднял на него глаза. Молодой белобрысый парень, похожий на тысячу других людей, с которыми мне приходилось сталкиваться.

Какая тупая вражда, какое бесстрастное мучительство! Не надо отвечать. Буду думать о чем угодно; о том, как боялся медведя в детстве, когда пас коров, как тонул в озере, только не о том, что я опять у землянки, во власти человека, которого превратили в моего палача.

Конвоир добавил почти мечтательно:

— Ничего, сейчас будете говорить!

Пришел караульный начальник, переписал нас и коротко приказал:

— До буды! [1]

Нас ввели в землянку, оказавшуюся специально устроенным карцером. Каждого посадили в одиночку, заперли и оставили в покое.

Петровский успел на прощание шепнуть:

— Петька, не унывай! Как-нибудь обойдется.

— Не кжычать, холеры, бо бата достанешь! — раздался резкий окрик солдата.

Как затравленный зверь в клетке, извиваюсь на земляном полу своей тюрьмы.

В углу заботливыми руками лагерной администрации постлана солома, очевидно, давно не менявшаяся. Она издает тошнотворный запах гнили и сырости. Ночь тянется томительно долго. С потолка и со стен бесшумно стекают медлительные капли. У меня такое ощущение, будто я свалился в воду. Одежда прилипает к телу. Потрясающий озноб не дает мне уснуть. В соломе копошатся какие-то насекомые. Я физически ощущаю их осторожное прикосновение. Громадные крысы с голодным писком торопливо шныряют из угла в угол, не осмеливаясь приблизиться ко мне.

Я сижу в полузабытьи, прислонившись к стене, и в непроглядной тьме веду счет до тысячи, начиная его каждый раз сызнова. Мозг совершенно обессилен этой непомерной нагрузкой. Так проходит время до

[1] В Карцер.

тех пор, пока сквозь решетки окна, находящегося почти под самым потолком, не пробиваются первые робкие лучи света.

В изнеможении сваливаюсь на солому и засыпаю мертвым сном человека, которому больше нечего терять.

Примерно часов в семь утра нас всех выводят на допрос. Процедура очень проста. Два солдата схватывают жертву за шиворот, укладывают на скамейку. Один держит за голову, другой за ноги, третий получает от поручика короткое приказание. Избивают нас стремительно, ловко и жестоко.

— Два десча пинч [1], — произносит офицер, когда очередь доходит до меня.

Пока меня укладывают на скамью, я чувствую резкую боль от первого нанесенного удара. За ним следуют другие.

— Досыть! — говорит поручик. — На чотырнадцать днив до буды, по пинч батив ранай до вечора.

Достаточно ясно — на четырнадцать дней в карцер и по пяти ударов утром и вечером.

Стало быть, в течение четырнадцати дней это составит сто сорок ударов.

Мурашки начинают ползать по моей спине.

Я начинаю испытывать чувство безнадежного отчаяния, но моментально беру себя в руки и насильственно пытаюсь внушить себе мысль, что сто сорок — вовсе не такая большая цифра.

Все зависит от привычки.

Возвращение в одиночку. Обед — вода, похлебка и кусок плохо пропеченного хлеба.

Через несколько часов до меня доносится шум возни из камер моих товарищей, расположенных рядом с моей.

[1] Двадцать пять.

Снова порка. Значит, надо приготовиться и мне.

Мои размышления прерываются. В конуру влезает ненавистный унтер, пан Вода.

Спокойное и категоричное:

— Кладнись!

Пан Вода сдирает с меня брюки, со скучающим видом всыпает мне пять батов и, как человек, исполнивший свою изрядно успевшую надоесть служебную обязанность, уходит.

Узкий карцер, общество все более смелеющих крыс, доводящих меня своим писком и возней до сумасшествия.

«Полфунта хлеба в день, вода, похлебка, пять плеток утром и пять вечером, — надолго ли меня хватит? — спрашиваю я себя, встречая каждый новый день моего заключения. — А ведь это длится уже тринадцатые сутки.

В землянке днем сыро и душно, а ночью холодно. У меня озноб и жар, но пан Вода не доктор, он служит, и у него свое дело, которое он выполняет добросовестно.

Наконец долгожданный четырнадцатый день. Накануне вечером пришел Вода и дал мне вместо пяти семь плеточных ударов: очевидно, два удара он добавил лично от себя.

Вода бросил мне и товарищам по-польски длинную фразу. Смысл ее заключался в том, что мы получим почетную работу. Нам предстояло вывозить в бочках содержимое уборных до тех пор, пока ассенизационное хозяйство лагеря не будет приведено в блестящее состояние.

Все же это было лучше, чем сиденье в карцере и ежедневная порция плеток.

Четырнадцать дней я не видел Петровского и Николая. Все мы изменились до неузнаваемости. Сильно сдал даже гигант Петровский.

Увидев меня, он лишь кивнул головой.

Боязно было даже сказать друг другу «здравствуй»: а вдруг начнут опять пороть за эту вольность?

Если бы кто-либо из нас представил себе такую перспективу в момент пленения, он предпочел бы застрелиться. Это было бы в тысячу раз легче, чем тот жуткий позор, измывательство, которые нам приходилось терпеть.

Польскую демократическую республику, ее государственный быт, ее европейские порядки нам приходилось изучать в довольно необычной обстановке.

Настоящую трудовую Польшу от нас заслоняли серые мундиры вооруженных тюремщиков, фанерные стены отстроенных предусмотрительными немцами бараков и колючая паутина проволочных заграждений.

Убийственное однообразие, нарушаемое лишь процедурой избиений, все время заставляло нас вспоминать мельчайшие подробности жизни на воле, до плена. Углубишься в прошлое — и в этом находишь силы для веры в лучшее будущее.

В плену так отчетливо вспоминались первые дни моего вступления в отряд, уходивший на фронт.

С каким наслаждением я вспоминал об этом, с какой радостью представлял себе свободного некогда олонецкого пастуха Петьку, рванувшегося к новой жизни, безоговорочно примкнувшего к тем, кто взялся очистить мир от палачей и угнетателей, кто поставил себе задачей переустроить мир на новых социалистических началах.

Спешным порядком формировали части. Медлить нельзя было; предполагалось, что военному искусству мы научимся уже в боевой обстановке, главное — научиться владеть винтовкой, а остальное само придет.

Мне в этом отношении было лучше. Я прошел суровую муштровку старой царской армии.

Помню посадку в вагоны, когда нас отправляли на фронт. Незабываемые, особенные дни...

В товарных вагонах было холодно. Железная «буржуйка», стоявшая посреди теплушки, бездействовала, не было дров.

Ребята приуныли, съежились.

Мы развлекались, как умели и как позволяла обстановка.

— Сыграй, Ванька, — крикнул Фролка, — я попляшу, все равно домой мне не попасть!

Ванька, наш товарищ из соседнего села, белокурый, крепкий парень в охотничьих сапогах с высокими голенищами, достал свою однорядную «вятку», которую он предусмотрительно захватил с собой из деревни, и заиграл. Фролка лихо вскочил с нар, пустился вприсядку. Настроение стало подниматься, четкий ритм каблуков отплясывавшего товарища вселял бодрость.

— Ишь, бестия, раскомаривает! — слышались одобрительные возгласы.

Несколько товарищей лениво сползли с нар, но постепенно стали оживляться и наконец последовали примеру Фролки, уступившего им свое место.

Прибыли в Олонец, взялись на учет в штабе. Через два дня нам сообщили, что немцы начали отступление из Белоруссии, а поляки по свежим следам стремились захватить этот край — лакомый для них кусочек.

Задача наша, следовательно, определилась: надо было не допустить захвата Белоруссии поляками.

Вскоре нас из Олонца отправили эшелоном в Торопец, где формировались отряды перед отправлением на фронт.

Путь до Торопца прошел незаметно, в вагоне было весело. Раздобыли немного дров. Все мы чувствовали какой-то подъем.

Приехали на место назначения. Нас разбили по ротам: Фролку и Никанора послали в саперную команду, а остальных в отдельные части.

Я остался один. Фролка и Никанор выпали из моей жизни... Но раздумывать некогда было: нас предупредили, что завтра придется выступать. Стряхнул с себя грусть.

Я провел первую ночь в казарме, в которую было превращено городское торопецкое училище. В сущности это была моя последняя спокойная ночь, ибо после нее начался поход, а затем — плен, бегство, то бегство, которое привело меня в стрелковский лагерь.

Дорого бы я дал за то, чтобы начать сначала. Правда, тут же я себя пристыдил, сообразив, что только такой опыт, какой явился у меня в последние полгода, мог в конечном итоге выковать из меня настоящего большевика.

При проезде из Олонца на фронт мы дня на два задержались в тогдашнем Петрограде. Митинговали с огромным подъемом в казармах.

Шла стихийная запись рабочих в большевистскую партию.

Вместе с ними и я получил на руки маленькую книжечку, удостоверявшую, что ее предъявитель Петр... действительно является членом российской социал-демократической рабочей партии большевиков, связь с которой началась у меня задолго до этого момента.

Утром в Торопце нам скомандовали:

— Выходи, стройся!

Дежурный по роте предложил взять вещи с собой.

Я очутился в первом взводе. Рядом оказался высокий скуластый парень; он тяжело ступал громадными сапогами, переваливаясь с боку на бок.

«Вот, — подумал я, — попадет к нему в руки враг, — не возрадуется».

Я дружелюбно поглядел ему в глаза. Он широко улыбнулся, сунул мне свою лапу, крепко стиснул мою руку.

— Петровский. А тебя как?

— Зови меня Петькой, — сказал я ему в тон.

— Партийный?

— Так точно, — ответил я ему, шутливо взяв под козырек.

Меньше всего мог я предполагать в этот момент, что судьба так тесно свяжет меня с Петровским: он представлялся мне тогда неуклюжим и громоздким, гораздо менее культурным, чем это оказалось на самом деле.

— Ясности в тебе, парень, нет, — иронизирует Петровский, — Ты словно не веришь, что мы полякам покажем, почем фунт лиха. Скурве сыне! Попадет им от меня!

— Ты что ругаешься? На каком языке?

— Скурве сыне, — сказал Петровский, — это по-польски.

— Смирно! — раздалась команда. — На плечо! Левое плечо вперед, шагом марш!

Рота двинулась в поход. Петровский очутился рядом со мной. Он частенько со мной заговаривал, очевидно, желал поближе познакомиться. Возле самой станции он меня спросил:

— Есть у тебя спички?

— Нет, — ответил я ему.

— Вот чудак! Как же без спичек? Ведь ночами придется сидеть, курить захочется.

— Я не курю, — угрюмо пробормотал я.

— Эх ты, баба! — промычал Петровский и долго после этого молчал: очевидно, задумался.

Нас погрузили опять в вагоны, такие же холодные, как те, в каких мы ехали до Торопца. Предстояло мерзнуть, дров на станции не давали: успокоили

команду тем, что замерзнуть не успеем, недолго путешествовать будем.

Тронулись.

— Даешь шляхту, — задумчиво сказал Петровский, и как бы в ответ на это раздался протяжный свисток паровоза. — Вот видишь, — сказал он мне, — даешь шляхту — свистит паровоз. Скорее бы ее к чортовой бабушке разгромить.

«Даешь шляхту» — стало одним из боевых лозунгов в 1919 году, в период наших первых столкновений с поляками.

Но очень скоро этот лозунг был заменен другим: «Даешь Варшаву».

Ехали мы целую ночь, утром поезд остановился, эшелон выгрузился. Мы опять разбились по ротам.

Командиры долго и подробно объясняли нам смысл нашей боевой задачи.

Наши начальники, такие же рабочие и крестьяне, как и мы, не знали «уставов», но зато с ними было легко, можно было в свободные минуты по душе поговорить.

Утром полк двинулся вперед.

Мы пошли в первое наступление. Оно четко врезалось в память.

Бойцы, посланные в разведку, скоро вернулись и сообщили, что колонна отступающих немцев остановилась в Полоцке, больше итти не хочет и намерена нам дать бой. Выяснилось также, что в Полоцке имеются и польские войска, явившиеся в город для того, чтобы заместить отступающих немцев.

Для обсуждения информации, принесенной разведчиками, было созвано совещание командиров.

Полк сделал привал.

Я стал закусывать припасами, сохранившимися у меня еще с Торопца.

Петровский очутился рядом.

— Питаешься? — сказал он иронически.

Я на него неприязненно поглядел. Меня уже начинало раздражать его покровительство.

— Поди ты ко всем чертям! Чего навязался! Ты бы лучше за своим лицом глядел да угри выдавливал, а то видишь, как у тебя их много!

Впоследствии я узнал, что этим ответом задел больное место Петровского. Никогда больше я не позволял себе с ним таких шуток.

После этого первого и единственного конфликта дружба наша прочно укрепилась.

Но в тот момент Петровский решительно двинулся ко мне, сжав кулаки. Он, вероятно, превратил бы меня в котлету, если бы около нас не раздался успокаивающий голос командира. Наша рота должна была пойти в авангарде, предстояло вытеснить противника из Полоцка. Штаб полка начал переговоры с немцами, обратившись к ним с предложением покинуть Полоцк без боя. Мы надеялись после ухода немцев из города захватить в плен польские части.

Ротный ознакомил бойцов с предстоящей операцией. Мы внимательно слушали все его указания.

Мы сознавали, что от усилий и храбрости каждого из нас зависит успех первого боя.

Стал накрапывать дождь, вечером повалили мокрые хлопья снега.

Петровский и я пошли в дозор. Я уже тогда обратил внимание на то, что в смысле опыта мне надо было многому у Петровского поучиться.

Я шел по его следам. Вдруг раздалась команда:

— Остановиться!

Остановились, примкнули к роте. Через несколько минут новая команда:

— В цепь!

Мы рассыпным строем двинулись вперед на По-

лоцк, откуда слышались уже ружейные выстрелы, а временами тарахтели и пулеметы.

Вскоре наша рота получила распоряжение сделать фланговый обход. В абсолютной тишине, четко и быстро проводили мы эту операцию.

Справа от нас раздалось нестройное ура.

Оказалось, что в цепь поступило сообщение о том, что немцы согласились без боя оставить Полоцк. Поляки же, поняв, что они попадут в мешок и будут раздавлены, уходили, отдавая город в наши рука.

Мы победным маршем вступили в Полоцк и разместились в женской гимназии. Как только началось распределение частей по квартирам, подошла походная кухня.

Ко мне и Петровскому вскоре присоединился Исаченко — старый подпрапорщик, добрый парень и прекрасный, как оказалось впоследствии, большевик. Нас тогда несколько смущало его придирчивое отношение к товарищам, на которых он налетал за нарушение дисциплины. Особенно он злился, когда это происходило в рассыпном строю. Во всем остальном Исаченко был настоящим товарищем, не раз впоследствии выручавшим нас из беды.

После переклички дежурный по роте предупредил нас, что мы выступаем в восемь часов утра.

Чуть забрезжил свет, дежурный по роте стал нас будить.

Получили приказ выступать на Двинск.

Снова вагон, погрузка, негреющая печурка, полуголодный поход, все то, к чему мы уже успели привыкнуть.

Добрались до Ново-Свенцян.

Наша разведка сообщила, что польские передовые отряды находятся в Подбродзе и что неприятель намеревается вести наступление на Свенцяны. Стало быть, предстоял бой.

Командиры удалились на совещание в штабной вагон.

Кто-то из товарищей приволок несколько оторванных от забора досок. Сгрудились вокруг раскаленной докрасна буржуйки, вскипятили в котелках воды. Торопливо, обжигая губы, стали глотать согревающий напиток.

— Все хорошо, да сахару нет, — сказал Петровский.

Я вспомнил, что у меня осталось несколько кусков сахару, взятых еще в Торопце, извлек их из сумки, раздробил на мелкие кусочки и поровну разделил между товарищами.

— Славно жить среди добрых людей, — сказал Исаченко, — прямо как в коммуне. Теперь бы еще хлебца.

— Ишь чего захотел! — смеется Петровский. — А не угодно ли вам еще молочка, кофейку, булочек сдобных, курятинки или ножку от гуся?

Мы дружно рассмеялись шутке Петровского.

Вернувшийся командир собрал роту и сообщил нам, что мы будем занимать исходное боевое положение в течение дня, а ночью станем выбивать противника из Подбродзе, так как он там засел пока с небольшими силами. Разделили роту на группы, еще раз внимательно обсудили план действий и двинулись лесом по направлению к Подбродзе, до которого шли всю ночь.

Под утро остановились, быстро связались со штабом, получили приказ продолжать наступление с тем, чтобы до рассвета окружить местечко.

Наша рота должна была произвести охват местечка с западной стороны, а две соседние роты — с северной и восточной. Мы удачно выполнили порученное нам задание.

Медленно сжималось наше кольцо у Подбродзе,

противник, видимо, не ожидал такого быстрого наступления и не принял мер предосторожности; мы его захватили, что называется, врасплох.

Рассыпным строем, быстро обгоняя друг друга, двигались мы вперед. Мелькнул огонек, потом другой, третий.

— Застава, — успел мне шепнуть Петровский и энергично щелкнул затвором.

Возле меня очутился отделенный командир.

— Их нужно снять без боя, — сказал он мне.

Это распоряжение мы немедленно передали по цепи. Ползком, на четвереньках начали мы продвигаться вперед. Так двигались около получаса. Отделенный командир послал меня с Петровским вперед, к видневшейся невдалеке избе, предложив остальным бойцам осторожно двигаться за нами.

— Удивительно, — сказал мне Петровский, — огонь горит, а никого не слышно.

Остановились, прислушались, приникли к стенке, Молчание. Стало быть внутри никого нет.

— Идем прямо, — предложил я, — чего тут ждать.

Я поднялся во весь рост и, смело подойдя к окну, заглянул внутрь избы. Мне представилась такая картина: за столом сидел польский солдат и что-то писал, около печки второй солдат любезничал с женщиной, очевидно, хозяйкой. В углу, около входной двери, стояли винтовки. Их было много. Можно бы предположить, что на полу спало еще несколько человек.

«Вот, — решил я, — удобный момент, чтобы захватить заставу врасплох, а потом неожиданно напасть на главные силы.

Эта же мысль молниеносно созрела и у Петровского. Не дав мне вымолвить и слова, он торопливо бросил тоном, не допускающим возражений:

— Следи за окнами, стрельбу не открывай, а как

только я вскочу в хату, бей стекла, создавай панику, только не слишком шуми: попадем мы тогда как кур во щи.

— Хорошо, — ответил я.

Петровский одним скачком бросился к двери. Я услышал, как отлетел запор, а в окно увидел, как Петровский «действует».

— Ни с места, стреляю! — крикнул он, загородив своей фигурой винтовки.

Я начал бить стекла.

— Ложись! — крикнул Петровский.

Два солдата и женщина безоговорочно выполнили его приказание.

Вслед за Петровским и я вбежал в избу — к нему на помощь.

Не успели мы осмотреться, как в дверях появился наш отделенный командир Шалимов с несколькими бойцами. Лежавшие на полу польские солдаты вскочили, растерянно глядя на вошедших, и с поднятыми руками застыли посреди комнаты.

— Заходите, милости просим, — обратился торжествующий Петровский к Шалимову.

Тот в ответ улыбнулся.

— Поищи, нет ли чего поесть, — сказал он Петровскому.

В это время женщина, лежавшая на полу, рыдая, кинулась к ногам Петровского.

— Не губите, ради бога, не губите!

Мы недоумевающе посмотрели на нее. Я сказал:

— Да мы вас и не думаем губить.

Шалимов на ломаном польском языке спросил пленных:

— Ну, як, панове? Цо вы тут робите?

— Да мы вартовые, пане, — ответили поляки.

Шалимов пытался на своем замечательном польском диалекте завязать с ними беседу, но солдаты

мучительно недоумевали, вслушиваясь в речь Шалимова, обращенную к ним. Они ничего не понимали.

Мы прыснули со смеху.

— Ну, ладно, чорт с вами! — махнул на них рукой Шалимов, достал из кармана папиросы и предложил пленным.

— Дзенькуем, пане, — отвечали те, но почему-то папирос не брали.

Шалимов усмехнулся, посмотрел на Петровского и сказал:

— Очевидно, добрые католики получили соответствующие инструкции от своих духовных пастырей.

Я взял из коробки Шалимова папиросу и закурил.

Тогда один из пленных протянул к Шалимову руку и сказал:

— Як кто кце, а я закурю. Дай, пане, один цигарек.

Шалимов протянул ему пачку с папиросами.

За первым солдатом взял второй, а затем остальные.

Нас несколько удивила эта затянувшаяся церемония. Курьез очень скоро разъяснился. Оказалось, что польские офицеры внушали солдатам, что каждый красноармеец носит с собой пачку отравленных папирос, которыми угощает взятых в плен польских солдат.

— Товарищи, покурим и давайте двигаться, — заявил Шалимов.

Мы выделили из нашей группы пять человек, поручив им конвоировать пленных; одного послали с донесением к командиру роты, а с остальными двинулись ползком вперед.

Нам предстояло до прибытия всей роты точно обследовать местность и выяснить, с какой стороны лучше двигаться.

Было условлено не стрелять попусту.

Я оказался опять рядом с Петровским.

Удачный захват передовой заставы еще больше сблизил нас.

По правую руку от меня в цепи полз Исаченко. Теперь я уже знал, что оба они исключительно надежные товарищи, рядом с ними чувствовал себя хорошо, спокойно.

Издали доносился неясный шум, вероятно, мы очутились в районе расположения противника.

Стало светать.

—Вот досада, — сказал Петровский, — ведь наши не успеют подтянуться, пока темно, и провалится вся операция...

Нашего наступления останавливать нельзя, и в то же время надо было действовать так, чтобы поляки не знали, что мы находимся поблизости, иначе пришлось бы брать местечко с боя, так как враг успел бы подготовиться к обороне. Немцы из Свенцян ушли только накануне.

— Поляки ждут нас завтра к утру, мы же должны на них напасть сейчас, пока ночь еще не ушла. — сказал Шалимов, потом, подумав немного, обратился к Исаченко и добавил: — Беги в штаб, снеси донесение, потребуй, чтобы скорее подтянулись главные силы. Надо перейти в атаку сегодня же ночью.

На клочке бумаги Шалимов нацарапал донесение, с которым Исаченко быстро скрылся в предрассветной мгле.

Мы же решили пока залечь и дальше не двигаться. Надо было принять все меры, чтобы поляки не обнаружили нас.

Стали терпеливо ждать.

Время тянулось томительно. Прошло около часа напряженного ожидания. Шалимов уже стал тревожиться.

Наконец прибежал, запыхавшись, Исаченко.

— Ну, что? — прошептал Шалимов.

— Вторая рота уже обошла левый фланг противника и заходит ему в тыл, наши двигаются сюда, минут через двадцать прибудут, и сразу же пойдем по направлению к местечку, — торопливым шопотом сообщил он нам, едва сдерживая свою радость.

— Наконец-то пойдем в атаку! — обрадовался Петровский.

От пленных, которых мы захватили в передовой заставе, нашим удалось в штабе полка очень много узнать.

Исаченко поделился с нами всеми подробностями и новостями, услышанными им в штабе.

Пошли предположения об исходе боя.

— Хоть бы уж поскорее, а то зря торчим, — нетерпеливо заерзал Петровский.

— Они сейчас подойдут, — уверенно сказал Исаченко. — Не волнуйтесь, ребята, все теперь будет в порядке, сам собственными глазами все видел и слышал.

Ждать действительно пришлось недолго. Уже через десять минут из-за кустов вынырнула цепь красноармейцев, продвигавшихся ползком в нашем направлении.

Один из них подполз к нам вплотную и осведомился, где товарищ Шалимов.

— Вот приказ, — сказал он.

Шалимов взял у него клочок бумаги, на котором ротный командир писал:

«Товарищ Шалимов, двигайтесь вперед до тех пор, пока можете оставаться незамеченными, после чего остановитесь и ждите подхода главной цепи: мы будем вслед наступать, не останавливаясь. О своих наблюдениях доносите».

— Ну? — нетерпеливо спросил Петровский, пока Шалимов разбирал каракули.

— Вперед, — ответил ему вдруг ставший серьезным Шалимов.

— Значит, вперед? — переспросил Петровский Шалимова.

Последний не ответил.

Цепь раскинулась и двинулась дальше; до Подбродзе оставалось не больше трех километров.

Мы ползли быстро, гораздо смелее, чем раньше, и через полчаса такого «черепашьего» движения установили, что нам уже дальше двигаться нельзя: из-за горки уже ясно проступали очертания местечка.

Остановились и стали ждать прихода своих. Вдруг раздалось несколько беспорядочных выстрелов.

Мы все в тревоге обратились в сторону, откуда шла стрельба. Неужели нас обнаружили поляки?

За Подбродзе взвивались клубы дыма, затем огненные языки появились высоко в воздухе, в самом местечке, видимо, заволновались.

— Вперед, в атаку!

Сзади нас выросла цепь красных бойцов.

— Ура, ура! — раздалось с разных концов.

Мы наступали организованно. Наши две роты влились в цепь и бросились в атаку. Поляки, как мы и предполагали, не ожидали такого стремительного наступления, не выдержали и в беспорядке отступили из Подбродзе, оставив большое количество пленных, продовольствия, фуража и военных припасов.

Бойцам нашей роты поручено было немедленно, ориентируясь по захваченным в штабе поляков спискам, взять в плен команду связи поляков, расположившуюся в нескольких избах на окраине.

Мы не знали дороги, спотыкаясь падали от усталости, всеми овладело желание поскорее добежать до цели.

Впопыхах я не заметил, как очутился около одного

из домиков, и буквально наскочил на двух поляков, которые спешно запрягали лошадей.

Они, очевидно, собирались удирать.

— Стой, стрелять буду! — крикнул я.

Поляки сначала оробели, но когда увидели, что я один, перешли к стремительным действиям.

Я успел отбежать за угол. Нападавшие бросились вслед за мной. Положение критическое. Если сейчас не подоспеют остальные товарищи, моя песенка спета.

Пули свистят над моей головой и мягко шлепаются в рыхлую землю.

Топот нескольких десятков ног и щелканье затворов возвещают о моем спасении.

Я вижу, как приседает, на ходу роняя винтовку, один из врагов, как другой, отстреливаясь, торопливо отбегает в сторону. Знакомый голос Петровского тревожно окликает:

— Петька, ты жив! А мы думали, каюк тебе.

Я подошел к нему, крепко пожал ему руку и, весь дрожа от волнения, пробормотал:

— Спасибо, друг, спасибо, что спас меня от верной смерти.

— Брось дурака валять, идем, — недовольно пробормотал он и быстро зашагал в глубь местечка. — Наши, вероятно, уже обедают, а мы тут с тобой ерундой занимаемся. Жрать хочется.

Улицы местечка заполнены красноармейцами. Петровский на ходу спрашивает:

— Какой роты, товарищ?

— Третьей. Второй, — отвечают нам.

— Где же, наконец, наша первая? — обращаемся мы к одному из командиров.

— Вот там, — показал он рукой на запад.

— Идем, Петька, поскорей к нашим. Куда их черти занесли?

— А мы тоже беспокоились о вас, — встретил нас Шалимов.

— Да я выручил вот его, — сказал Петровский.— Один скурве сыне чуть на тот свет его не отправил.

— Да ну? — удивился Шалимов.

— Вот что, Шалимов, — оборвал его Петровский,—давай лучше насчет жратвы подумаем.

— Дело обстоит не плохо, — ответил Шалимов.— Въезжаю в местечко, смотрю — около избы бричка с разными котомками. Проверили, разное барахло нашли, отдали его полковому каптенармусу, а кусок хлеба и сала фунта с два между собой поделили. Садитесь вон там на бревне, я вам вашу долю принесу.

— Крой, крой, Шалимов, — одобрительно сказал Петровский, — а мы пока поудобнее устроимся.

Подошел ротный командир, поздоровался.

— Кухня будет только к вечеру, — сказал он, — нужно как-нибудь всухомятку продержаться, до вечера отдохнем, а там опять двинемся. Сейчас устанавливайте караулы — и по домам, но далеко не расходитесь, будьте готовы в любой момент собраться на случай тревоги.

Я очутился в чистеньком домике, аккуратно выбеленном. Старуха-хозяйка рассказала нам, что ее сын и старик ушли на заработки, а невестку увезли с собой поляки.

— Врет, как полагается, — сказал Петровский. — Да нам не все ли равно, отдохнем часок, да и баста.

Шалимов, Петровский, Исаченко и я устроились довольно удобно. Не успели мы разместиться, как под окном послышал голос вестового, осведомлявшегося о Петровском.

— Что нужно? — недовольно крикнул Петровский.

— В штаб полка вызывают.

Петровский стал ругаться.

— Собирайся живо! — сказал ему Шалимов начальствующим тоном. — Раз зовут — не задерживайся.

Там ему сообщили содержание полученного приказа:

«Петровскому, как окончившему военные краткосрочные курсы, предлагается явиться немедленно в распоряжение штаба бригады».

Вернувшийся Петровский быстро собрал свои вещи и стал торопливо прощаться. В дверях он обернулся и бросил:

— Слушай, Петька, как устроюсь — напишу, а ты сообщи, как у вас дела.

— Пиши, — приветливо ответили мы ему в один голос.

Хлопнула дверь, и Петровский исчез.

— Хороший парень, хоть и простачком прикидывается, — сказал Шалимов.

В этот момент мы услышали команду:

— Выходи, стройся!

Нам предстояло с Первым и Вторым литовскими полками двинуться в наступление на Вильно.

— Даешь Вильно! — закричали наши ребята.

Успех в Подбродзе окрылял...

— ... Выходить! — доносится до моего слуха.

Петровский тащит меня с нар. Куда зачем?

— Вставай, чортов мечтатель, а то проволоки попробуешь!

— Холеро! Пся крев! — зычно орет унтер на весь барак. Ненавистное слово отрезвляет меня, я быстро вскакиваю с места.

Необходимо приступать к выполнению обязанностей ассенизатора.

«Нас этим не испугаешь. Мы люди привычные», — мысленно стараюсь утешить себя, направляясь к выходу.

5. *Стрелково*

Хмурый осенний день. Небо задернуто непроницаемой свинцовой пеленой. Дождь уныло барабанит по обшитым толем баракам. Грустно гудят телеграфные провода. Бесприютные клены качаются на ветру. Осыпающиеся листья мертвенно желтеют на непросыхающей земле.

Нас переводят из штрафного барака в общий. Втянувши головы в плечи, мы осторожно переступаем лужи, ежеминутно преграждающие нам путь.

Нас ведут мимо бараков, аккуратно расставленных немцами в одну линию. На стенах кое-где готическим шрифтом выведены надписи.

У открытых дверей одного барака мы замечаем женщину с детьми, не решающихся выйти во двор. У детей изнуренные лица и грустные глазенки, испуганно взирающие на мир.

— Какая сволочь, — возмущаюсь я, — детей не щадят.

Петровский одергивает меня:

— Не треплись, не поможет, — а сам не смотрит в ту сторону.

У одного из бараков мы останавливаемся. Дверь гостеприимно открывается, и мы входим.

Темный сарай доотказа набит людьми. Запах испарений и давно немытых человеческих тел резко ударяет в нос.

Мы проходим мимо распластанных тел, стараясь найти местечко, где бы можно было устроиться, и неожиданно натыкаемся на Шалимова, Грозного и Сорокина. Радости нашей нет предела — товарищи уцелели! И все же обидно, что и им не удалось уйти из плена. Мы не рискуем расспрашивать их.

Ночью, когда все уснули, торопливым шопотом сообщаем друг другу о наших злоключениях.

Долго смотрим на друзей.

— Как же это так? Ведь уже сколько времени прошло с того момента, как мы все ушли из Калиша. А мы думали, что вы уже дома.

— Не повезло нам, — мрачно ответил Шалимов.— Приключений всяких в пути и у нас было достаточно. За конокрадов нас в одной деревне приняли. Избили до смерти. Просидели мы под замком в канцелярии войта пару дней, насилу очухались от побоев и через окошко задали лататы ночью, когда полдеревни перепилось по случаю местного престольного праздника. Пробовали мы воровством промышлять. Забрались как-то в один погреб, нашли там всякой всячины, пошамали как следует, набили полные карманы, но были застигнуты как раз в тот момент, когда собрались выходить из ворот гостеприимного хозяина. В широкой соломенной шляпе, с седыми свисающими усами, с длинным арапником в руках, он загородил нам путь своей широченной грудью. «Вечер добрый, панове», — проговорил он тихим сдавленным от бешенства голосом. Пойманные врасплох и не зная, как себя держать в данную минуту, мы ответили ему молчаливым кивком. Дальше все пошло обычным порядком. О сопротивлении нам помышлять не приходилось. Громадный лохматый пес, которого мы до сих пор не видели, гремя цепью, с остервенелым лаем кружился вокруг нас, готовый в любую минуту растерзать, как только хозяин подаст сигнал. На крыльце дома стоял в полной готовности молодой человек, вооруженный увесистой дубиной. Нас отвели в темный сарай и на мягком душистом сене отдубасили по местам, не успевшим зажить после недавней экзекуции. После того как рассказали мы им, что пробираемся на родину из немецкого плена, где мы застряли дольше положенного срока, нас отпустили, посоветовав не появляться в этих краях. Поймали нас

на рассвете проезжавшие солдаты, которым показалась подозрительной поспешность, с какой мы сворачивали в сторону, избегая нежеланной встречи. Легионерам не трудно было установить, с кем они имеют дело. Долго колебались, куда нас отправить: в Калиш или в другой близлежащий лагерь. Порешили передать нас на первой остановке в руки жандармерии, которая должна была позаботиться о благополучной доставке беглецов в Стрелково. Вот уже недели три околачиваемся здесь, — закончил свое грустное повествование Шалимов.

— Значит, мы были соседями по карцеру? — задумчиво произнес Петровский — Сколько же на вашу долю было отпущено плеточных щедрот?

— Драли нас основательно, — поспешил нас успокоить Шалимов, — и такими же плетками, как и вас. Все же мы с Грозновым ничего, сносили кое-как, а вот Сорокин вздумал каждый раз за руку хватать поляков, когда те входили в карцер. С ума спятил парень. Замыслил придушить кого-нибудь из палачей. Решил им острастку дать, показать, что мы не бессловесные скоты. Ну, сами понимаете, что из этого вышло.

Сорокин виновато молчал. Вид у него был далеко не утешительный. Особенно странными показались мне его горящие глаза. Удивляться его болезненно-возбужденному состоянию не приходилось, но возникало серьезное опасение за его судьбу. «Надо зорко следить за ним, — отмечаю я в памяти, — иначе погибнет парнишка ни за грош».

Так или иначе, товарищи были живы; после всех перенесенных передряг мы все уцелели — это было самое главное. Дальше едва ли могло быть хуже.

— Жаль, что так все неудачно вышло, — сказал Петровский, — но лиха беда начало. Присмотримся к

порядкам в этом лагере и снова покажем пятки. Надо будет только направление к границе разузнать...

Шалимов прервал его:

— Погоди еще о новом побеге думать. Нам не один денек еще здесь, в Стрелкове, придется протор-чать. Не забывай, что на первых порах за нами в оба глядеть будут. Нас ведь к разряду «бегунов» отнесли, а с такими поляки не церемонятся. Норовят от беспокойных элементов всеми способами отде-латься: либо на смерть запороть, либо при первом же удобном случае пристрелить. Поэтому, — серьезно закончил он, — пока вооружитесь терпением.

— Расскажите-ка, ребята, поподробнее о местных делах. Вы ведь «старики» — раньше нас на несколь-ко дней из карцера сюда переведены, — сказал Пе-тровский.

— Здесь значительно хуже, чем в Калише, — ответил Шалимов, — кормят хуже, а бьют больше. Что за людей нагнали в лагерь для нашей охраны — не пойму, откуда их только взяли! Должно быть, раньше в тюрьмах в качестве палачей практиковались. Ну, чорт с ними! Бараки здесь грязные, но еще есть беда: конвоиры пьют во-всю. Недалеко отсюда вино-куренный завод. Как только офицеры уходят после проверки из лагерей, конвоиры дуют спирт. А потом по всякому поводу избивают пленных — душу отводят.

«Хороша перспектива! А повод ведь не трудно найти», — подумал я.

— Утром, — продолжал Шалимов, — в восемь ча-сов выстраиваемся в длинную очередь за кофе из жженого ячменя. Разумеется, без сахара. Дают толь-ко одну кружку этой жидкости, примерно полтора стакана. На обед дают полчерпака супа. Вот и делай, что хочешь...

— А с чем суп? — больше для проформы спросил я, зная заранее ответ.

— Вот чудак, — ответил Грознов, — интересуешься еще, с чем! Да, конечно, с бураками, то есть это даже собственно не суп, а вода с бураками. Всегда без соли. Представляешь себе, какая это бурда. Иногда для разнообразия вместо супа дают нам на обед немецкой «зуппе» — хрен редьки не слаще. Хлеба выдают полфунта на день. Это бы еще ничего, если бы он был как следует выпечен, а то как глина. Хорошо, что у нас здоровье крепкое. Здесь люди заболевают почками; после месяца-другого такого питания доходят до полного истощения и помирают. Кроме того еще одно блюдо — плетка. Этого не жалеют.

В сущности и острый недостаток в еде, и жестокая порка не были для нас новостью. Важно было другое: необходимо было определить «дух» стрелковского лагеря.

Режим был суров во всех лагерях, но были в каждом из них свои особенности; их-то мы и учуяли нюхом еще в карцере; товарищи дополнили картину.

Учитывая опыт Калиша, надо было твердо, внешне безропотно переносить пытки. Нужно было запастись мужеством, чтобы держаться. Польский плен — блюдо не для слабых духом. Чем хуже обстановка, тем настойчивей надо пытаться прорваться через кордон.

Уснули мы довольно поздно, спали крепко и наутро проснулись более бодрыми.

Потянулись тяжелые дни. Знакомое безразличие, прерываемое поркой, голодное существование, постоянное ощущение слабости и лихорадочный блеск в глазах: так блестят глаза у давно некормленных зверей.

Я тосковал по людям. Был моложе других, поэтому, несмотря на предостережения Петровского, шатался по всему бараку.

Неподалеку от нас расположилась группа в не-

сколько человек, профессию которых трудно было распознать. Они откуда-то доставали хлеб, угощали конвойных папиросами, какими-то путями попадавшими к ним.

Возле их нар постоянно околачивался кто-либо из пленных в надежде «подстрелить» окурок или выклянчить корку хлеба.

От пленных я узнал, что эти люди родом из Галиции. Они давно живут в Польше и работали в имении какого-то графа. Польским языком они владели в совершенстве.

В имении, где они работали, расположился во время перехода какой-то полк. Однажды утром один из офицеров полка был найден с раздробленной головой возле сарая, примыкавшего к домику, где жили галичане. Их сейчас же схватили и судили. Одного, который в ту ночь поздно возвратился, немедленно расстреляли, а других отправили в лагерь.

Галичане утверждают, что офицера убили его же солдаты за побои и издевательства, а для того, чтобы отвлечь от себя подозрение, нарочно не застрелили его, а раздробили череп чем-то тяжелым.

Однако поляки эту версию отвергают и продолжают держать их в лагере, откуда их время от времени куда-то уводят на допрос.

В городе за них кто-то хлопочет, и, очевидно, через конвойных им присылают передачи.

Конвойные не видели в них большевиков, поэтому отношение к ним не было так бессмысленно жестоко, как к нам.

Напуганные обыватели, они лебезили перед каждым солдатом, а начальству повыше оказывали царские почести.

Нам казались дикими их поклоны каждому холую с блестящими пуговицами. Они напоминали крестьян нашего глухого села, когда в недоброе царское время,

бывало, наезжал урядник. Мужики во всякую погоду стояли перед ним с непокрытыми головами, а урядник, отец и дед и прадед которого сами были крестьянами, принимал как должное оказываемое ему «уважение».

Но урядник исчез, как только началась революция, а наш крестьянин навсегда разучился трепетать перед начальством. Эти же по любому поводу готовы были падать на колени.

Пленные их не любили.

Один из галичан был очень сильным физически,— мы впоследствии убедились в этом, — тем более раздражало его подобострастие перед начальством.

Я потихоньку ежедневно совершал путешествие в глубь барака, знакомился с пленными.

Так прошло несколько дней.

Однажды утром раздался хорошо знакомый возглас:

— Вставать, холеры!

Это кричал посторунок, открывая дверь нашего барака.

Грознов, Сорокин и Шалимов быстро вскочили с нар и вытянулись, а мы с Петровским несколько замешкались.

Посторунок обругал нас, но, увидав, что мы одеваемся и после его брани недостаточно, как ему казалось, быстро, кликнул своего товарища.

Оба они приблизились к нам.

— Що, холеры, не слышите приказа вставать?

Мы заторопились изо всех сил, но солдатам надо было, очевидно, во что бы то ни стало нас подтянуть.

— Кладнись, холеро!

Пришлось лечь.

Нам всыпали по пять плеток.

После порки нас повели на работу. К нам присоединили четырех китайцев.

Шалимов, Грознов и Сорокин остались «отдыхать» в бараке.

Будучи на работе, мы получили прибавку — еще немного супа, а это при голодной диэте играло немаловажную роль.

Китайцы, попавшие к нам в компанию, по-русски почти ничего не понимали. Мы так и не могли выяснить, где и каким образом они попали в плен. Вероятно, угодили в лапы поляков только потому, что на польском фронте офицеры усиленно распространяли слухи о пополнении наших частей китайцами, специально взятыми для выполнения обязанностей палачей.

Нас удивляло, почему поляки оставили китайцев в живых.

Наша работа была несложна. Уборная представляла собой большую цементированную яму. В империалистическую войну немцы, захватившие Польшу, поместили в бараках русских пленных. Эти строения и остались по наследству полякам вместе с запущенными уборными, переполненными до краев. Уборных было много. Их-то нам и предстояло очистить.

Работа распределялась между нами так: часть товарищей залезала в яму и лопатами накладывала нечистоты в ведра, а другая часть вытаскивала полные ведра и переливала в бочку. Потом шестеро впрягались в лямки и тянули бочку, а седьмой подталкивал ее сзади.

Нет нужды останавливаться на всей унизительности нашего положения во время исполнения возложенного на нас задания.

Для того, чтобы мы не лодырничали, два посторунка нас подгоняли, помахивая плетками. Кое-когда перепадал «случайный удар». Делалось это в соот-

ветствии с инструкциями лагерного начальства в целях повышения производительности труда.

По окончании рабочего дня приходили подавленные в барак, валились на нары и засыпали, как убитые, распространяя вокруг мало приятные ароматы.

В нашей лагерной жизни возникали иногда своеобразные спектакли. Они стихийно врывались в наш день, значительно усиливая нервное напряжение.

Дело в том, что пленные, в результате каторжного режима, установленного в бараках, ежедневно прибегали к самым безумным, рискованным способам побега. Наступал период, когда слабые духом пускались «во все тяжкие».

Психологическое объяснение смелым авантюрам — побегам — найти было нетрудно. Новому человеку достаточно было день прожить в лагерной обстановке, чтобы им прочно овладела упорная мысль о побеге. Попытки эти, будучи плохо, кустарно организованы, сплошь и рядом срывались.

Начальник лагеря капитан Вагнер и его ближайший помощник поручик Малиновский решили раз навсегда положить этому конец, беспощадно расстреливая всех покушающихся на побег.

После незабываемого унтера Воды мы имели возможность изо дня в день изучать этих доблестных представителей польского офицерства.

В моей памяти сохранились образы, почерпнутые из книг Генриха Сенкевича, которые мне довелось когда-то найти на полке моего первого наставника — сельского учителя. Как мало походили современные герои на своих предков, в которых природная жестокость все же сочеталась с «рыцарской благожелательностью» по отношению к слабым.

Капитан Вагнер, упитанный, розовощекий толстяк с гладко причесанными волосами и неизменной вонючей сигарой, торчавшей в уголке пухлых, слегка от-

топыренных губ, больше походил на женщину, чем на бравого вояку, каким он хотел обязательно выглядеть. Толстый зад, туго обтянутый рейтузами, и короткие ноги, зажатые в желтые, начищенные до нестерпимого блеска краги, еще сильнее подчеркивали это сходство. Ходил он, переваливаясь с боку на бок, по-петушиному выпятив грудь и тонким, визгливым голосом разговаривал со своими подчиненными.

Он был неограниченным властелином здешних мест. Его каждый выход обставлялся подобающим его рангу и положению церемониалом.

Рядом с ним обычно шествовал его помощник, сухой полжарый поручик — пан Малиновский. В прошлом он был объездчиком в имении какого-то захудалого помешика. Его лошадиное лицо было обезображено оспой. Оловянные тусклые глаза, неприятный рот, обнажавший четыре гнилые зуба, длинные, нескладные руки, нервно сжимающие хлыст, — все заставляло предполагать наличие самых низменных инстинктов в этом человеке, один вид которого способен был внушать страх. К тому же от него исходил дурной запах, и пребывание на близком от него расстоянии вызывало непреодолимое физическое отвращение. Солдаты старались избегать с ним встреч. Он это чувствовал, и его обращение с ними мало отличалось от обращения с пленными.

Позади начальства почтительно следовали дежурный по лагерю, начальник канцелярии, старшие и младшие писаря, представители хозяйственной части и некто с повязкой Красного креста, в синих дымчатых очках.

Шествие замыкали несколько вооруженных солдат.

Капитан Вагнер, обмениваясь репликами со своими спутниками, совершал обход бараков. Ближайшему к двери узнику задавались стереотипные вопросы: есть ли у него жалобы на порядки, существующие в ла-

гере, на качество пищи, на обращение с ним солдат?

Никому, разумеется, в голову не приходило исповедываться перед палачами. Но этого вовсе и не требовалось. Замешательство опрашиваемого, его молчание истолковывались как нежелание отвечать, как акт пассивного сопротивления.

Пан Вагнер медлительным жестом брал из рук своего помощника туго сгибающийся хлыст и, улыбаясь, отпускал несколько полновесных ударов на голову несчастного заключенного. Затем, пружинясь на каблуках, он прогуливался по узкому проходу между нарами и, выбирая очередную жертву, начинал процедуру отеческого опроса сначала.

Солдаты охраны лагеря боялись его, как огня. Он установил среди них систему круговой слежки и был в курсе малейших нарушений установленного им порядка. Этим объяснялись наши безуспешные до сих пор попытки войти в контакт с конвоирами.

За галичанами на нарах лежал, почти не вставая, больной. Он был в последней стадии туберкулеза, и пленные старались облегчить его участь всеми доступными им средствами. Был он раньше учителем в каком-то уездном городишке. Когда последний был занят поляками, на учителя донесли, что он путался с немцами. Кстати, и фамилия у него была немецкая: не то Фихтер, не то Рихтер. Его арестовали и несколько месяцев держали в бараке.

К этому больному повадился ходить Малиновский. Придет, велит себе подать табурет, сядет и начинает вести беседу. Больной стоит перед ним, а Малиновский допрашивает: хорошо ли было с немцами, да как немцы платили за продажу интересов Польши, да куда он деньги спрятал? Больной дрожит и валится с ног. Малиновский велит окатить его водой.

Вода уже не помогает — больной долго лежит без чувств. Тогда Малиновский уходит.

В бараке затишье. Разве иногда завоет кто-нибудь — не выдержат нервы. Товарищи сейчас же затыкают ему рот.

Когда участились попытки к бегству, высокое начальство еще больше усилило репрессии по отношению к пленным. За побег одного устанавливалась ответственность всех остающихся в бараке. Отбирались два человека для расстрела и еще третий — дежурный по бараку.

Эта решительная угроза произвела соответствующий эффект. Побеги временно прекратились.

Ни у кого из нас не возникало сомнений в том, что Вагнер и Малиновский будут проводить свою линию с последовательной жестокостью.

Однажды вечером, окончив работу по очистке уборных, я вернулся в барак. Ко мне подошел взволнованный Сорокин и сказал:

— Сегодня убежали два человека. Одного из них поймали, другому удалось унести ноги. Посторунок пошел с докладом к поручику.

Я понял причину отчаянного смятения Сорокина.

Самым мрачным нашим предположениям суждено было полностью оправдаться. Не прошло и пяти минут, как несколько солдат загнали внутрь всех пленных, бывших в этот день в наряде, предложили всем раздеться и лечь на скамьи. Шесть человек, вооруженных плетками, немедля начали очередное избиение.

На этот раз бежавшие рискнули осуществить свой план буквально среди бела дня.

Начальники наши дали волю накопившейся ярости.

Количество плеток каждому назначал Малиновский, исходя из оригинального арифметического подсчета.

— Сколько во всем бараке человек? — осведомился Малиновский у унтер-офицера.

— Пятьдесят.

— Дайте каждому по трети.

Это означало количество, равное трети населения барака.

Мы знали, что вслед за этим обычно следует дополнительная порция плеток для пленных по «национальному признаку». Малиновский добавлял евреям пяток или десяток ударов. Далее «премиально» удары добавлялись по территориальному признаку.

Мне, олонецкому крестьянину, вспыпалась «нормальная» порция ударов, ибо Олонецкая губерния расположена была далеко от центров красной опасности — Петрограда и Москвы. Зато москвичам и петроградцам дополнительные удары назначались обязательно.

Как на зло, Малиновский обладал хорошей памятью, очень скоро стал нас всех узнавать в лицо и отлично знал, кто из каких краев. Поэтому он был точен и редко ошибался.

Каждый из пленных честно получил полагающееся «по закону» Малиновского число плеток.

В этот день шло, как обычно.

Вдруг один из выпоротых, казак, доведенный до крайней степени отчаяния, вздумал апеллировать к гуманности польского офицера. Обратившись к поручику Малиновскому, он, плача, сказал:

— Ваше благородие, за что бьют-то меня?.. Ведь я служил в царской армии... Попал в плен к немцам, где провел свыше четырех лет... Возвращаясь домой, был задержан в Вильно и снова отправлен сюда... Я большевиков в глаза не видал... Помилуйте, отпустите домой!..

Речь его прерывалась, голос срывался, слезы лились из глаз.

— Кламишь! — заорал на казака Малиновский, выхватив из кобуры револьвер.

Раздался выстрел, и казак, сраженный пулей, как сноп, повалился на землю.

Но это не был еще конец.

После того как Малиновский на глазах у всех пленных застрелил казака, к нему приблизился старший нашего блока (десять бараков) и доложил, что имеется еще один пленный, настойчиво утверждающий, что он не большевик.

Поляки установили в лагере своеобразный регламент, согласно которому решительно все пленные, находящиеся в бараках, считались большевиками, причем к категории большевиков поляки относили даже детей.

— Где этот «не большевик»? — закричал Малиновский.

— Латыш, торговец, — продолжал докладывать старший, — говорит, что был задержан нашими в Вильно случайно. Клянется, что ненавидит большевиков, ссылается на свидетелей...

— Случайно! — перебил его Малиновский, — Знаем мы эти случайности. Ну-ка, давай его сюда!

Малиновскому указали на лежавшего неподалеку на земле толстого латыша, который громко стонал от боли. Раны на его теле обильно кровоточили.

Повидимому, латыш не видел расправы Малиновского с казаком, иначе он едва ли рискнул бы просить о милосердии, ссылоясь на свою ненависть к большевикам.

— Так ты не большевик? — ласково спросил его Малиновский.

— Нет, я не большевик, — рыдая ответил латыш. — Пощадите, у меня жена, дети. Дайте мне возможность вернуться к ним. За что вы меня мучаете?

Снова резкий выкрик «кламишь», и пуля Малиновского прострелила голову латышу, уложив его на месте.

Когда экзекуция над пленными нашего барака закончилась, Малиновский приказал начальнику блока выгнать на улицу всех пленных из остальных девяти бараков.

Конвоиры побежали в бараки и, избивая на ходу плеткой пленных, приказали всем выйти наружу и построиться в одну шеренгу.

Малиновский, обходя бараки, наблюдал за тем, как исполняют его приказание.

Ко мне подошел незнакомый унтер-офицер.

— Ходзь за мной! — приказал он.

Я покорно последовал за ним, не отдавая себе отчета, зачем он меня зовет.

Приготовился к худшему: к такой же нелепой смерти, какой погибли латыш и казак. Что значила моя жизнь или смерть в гигантском столкновении двух миров, старого и нового? Я не страшился смерти.

Унтер позвал еще одного из пленных и приказал нам взять носилки, лежавшие неподалеку.

Подошли к бараку, положили на носилки тело убитого Малиновским казака и понесли в покойницкую. Затем снова вернулись к баракам. Таким же порядком забрали тело латыша.

— Можете оставаться в покойницкой, пока там стихнет,—снисходительно сказал унтер.

Впоследствии я узнал, что он исполнял должность фельдшера. Запомнил его фамилию — Войдыло. Это был один из немногих, проявивших в отношении нас подобие гуманности.

Мы остались в покойницкой в соседстве с трупами.

«Ведь это были совсем недавно живые люди...» — подумал я.

Несколько часов прошло, пока улегся шум возле бараков.

Очевидно, экзекуция закончилась.

— Идем, — сказал товарищ из тринадцатого барака, — сюда могут случайно войти.

Мы взяли носилки и медленно направились к своему бараку. Там увидели безотрадную картину. Товарищи лежали на нарах и стонали. Вся их одежонка, и без того убогая, висела клочьями. Сквозь дыры виднелись на теле кровавые рубцы и раны.

— Петька, ты? — обрадовался Петровский. — А мы думали, что тебя повели на расстрел.

Подсел к нему, поделился своими мыслями.

Гнев, ярость против проклятых палачей душили нас с невероятной силой.

У Сорокина, метавшегося на нарах в бессильном отчаянии, пена выступила на губах.

Из женского барака доносятся вопли вперемешку с надрывным плачем детей.

Нам захотелось во что бы то ни стало выяснить, что там происходит.

Один из товарищей попросил конвоира проводить его в уборную. Вскоре он вернулся и, лихорадочно волнуясь, сообщил:

— Товарищи, там женщин донага раздевают и порют плетками.

В стрелковском лагере находились захваченные в советских госпиталях сестры милосердия. Поляки проявляли к ним особенную ненависть.

По мнению Малиновского, русские женщины обязаны были убивать своих мужей, сыновей, братьев в том случае, если они оказывались большевиками. А раз они этого не делали, значит, с женщинами в данном случае надо обходиться так же, как с большевиками.

Вопли все усиливаются.

Сорокин неожиданно рванулся к двери. Он машет кулаками и что-то бессвязно бормочет. Мы едва его успокаиваем.

— Убью, не хочу жить, не потерплю! Пусть расстреляют! Не позволю! Не могу! Трусы вы жалкие, прохвосты! Как можно столько терпеть, как земля вас носит после этого? Собаки, гады ползучие!

Мы перепугались. Не было никакого сомнения в том, что Сорокин, если мы не оттесним его от дверей, бросится на конвоира.

Петровский и Шалимов хватают Сорокина за плечи и, зажимая ему рот, уговаривают вернуться на место и не ставить под угрозу всех находящихся в бараке товарищей.

Этот аргумент как будто убеждает Сорокина, и он с поникшей головой и трясущимися губами медленно ложится на нары. Всю ночь его сотрясают конвульсивные рыдания.

После этой памятной расправы лагерь превратился в ад. Вагнер и Малиновский озверели. Набеги на бараки стали постоянным явлением. Избиения происходили по любому поводу.

Шли недели, но в нашем положении ничего не изменялось.

Нам казалось, что стрелковский лагерь — худший из польских лагерей. На самом же деле во всех лагерях Польши, как мы узнали впоследствии от новых пленных, была установлена единая система обращения с пленными, причем в нее вносились те или иные особенности, в зависимости от индивидуальности начальников лагеря.

Особенно страдала в последнее время, после генеральной порки, группа волынцев. Это были рослые ребята, занимавшие угол в самом конце барака.

С ними вместе жил казак, которого убил Малиновский.

Родина их Волынь сплошь покрыта лесами и топкими болотами. Деревушки бедные, грязные, хаты крыты соломой. Скот живет вместе с хозяевами под одной крышей. Железная дорога за сотни верст. Крестьяне верят в ведьм, домовых и злых духов, живущих на болотах. Испортится гребля на ближайшем болоте — и месяцами деревня оказывается отрезанной от ближайших сел. Народ там живет темный, забитый. При самодержавии прятался там в глуши, на лесных разработках, Петровский. Он хорошо знал их и рассказывал много о тамошней жизни.

Должен отметить странную вещь: Петровский редко говорил о своем прошлом. А если и говорил, то очень скупо. Между тем он прожил большую бурную жизнь революционера. А на вид ему было всего лет двадцать восемь — тридцать.

Уроженцев этих мест царское правительство обычно направляло на службу в гвардию. Забитые и невежественные, они беспрекословно подчинялись своим офицерам.

Волынцы нашего барака жили особняком, почти не разговаривая друг с другом, побираясь объедками, которыми брезгали даже в нашем лагере. Они истово крестились при всяком посещении Малиновского, и, очевидно, набожный казак по этой причине держался всегда вблизи их.

Эту группу почему-то особенно не взлюбил Малиновский. Может быть, потому, что его чем-нибудь обидели лесные люди в бытность его объездчиком, а он был до невероятности злопамятен. А может быть, «паны» внушали своим «холопам» ненависть к людям, которые жили в лесах.

Стоило Малиновскому взглянуть в угол, который они занимали, как начинались придирки и шли в ход плетки.

Волынцы покорно переносили все истязательства,

боясь только одного: как бы их не лишили пайка.

Жил среди нас один помешанный. Когда начиналась порка, он сперва тихо трясся от беззвучного смеха, потом смех переходил в отрывистый истеричный хохот, на который прибегали встервоженные часовые.

Малиновский несколько раз избивал его до полусмерти, но, пока помешанный не терял сознания, смех в бараке не затихал.

В промежутках между порками больной бродил среди пленных и жалобно подвывал. Станет близко и воет.

Сорокин однажды не сдержался, замахнулся на помешанного: уйди, мол.

Несчастный вздрогнул и захохотал.

Сильный удар сбросил Сорокина с нар. Шалимов быстро стал между Сорокиным и Петровским. Последний тяжело дышал. Лицо его исказилось яростью. Усилием воли он поборол в себе гнев, подошел к Сорокину и протянул ему руку.

— Прости, браток, но не делай этого впредь. Предоставим это Малиновским и Вагнерам.

В бараке событие: приехали члены какой-то международной комиссии по наблюдению за лагерями в Польше.

Малиновский побрился по этому случаю, обошел лично все бараки и предупредил, что при малейшей жалобе запорет до смерти.

Предупреждение было лишним. Мы и так не поверили бы в милосердие какой-то комиссии по отношению к красноармейцам. Отлично понимали, что комиссия уедет, а Вагнер и Малиновский останутся.

Днем нам выдали добавочную порцию хлеба.

Что ж, и это благо!

Вскоре пришла комиссия. Два военных и один штатский. Форма на военных незнакомая. Вагнер пе-

ред ними ужом извивается. Штатский вынул флакон из кармана и жидкостью побрызгал сначала себя, а потом военных. Подумал и брызнул на Вагнера тоже.

В барак затесалась собачка. Как она попала — неизвестно. Подвернулась под ноги Вагнеру. Он ее огрел хлыстом. Собака взвизгнула. Помешанный тотчас же отозвался: завыл и начал смеяться. Старичок сделал несколько шагов в глубь барака. Назревал скандал.

Тогда Вагнер приложил два пальца к козырьку и с улыбкой что-то зашептал старику. Тот тоже улыбнулся и повернул к дверям.

Следом за ним пошли военные.

Вагнер замкнул шествие.

Комиссия уходила. Ее провожал хохот помешанного.

В этот день мы не вывозили нечистот.

Золотая осень. На моей родине птицы готовятся к перелету. На полях уже заканчивается работа. Инвалид-гармонист ублажает девок бойкими переборами. Крестьяне толкуют о том, что надо перейти на «свет от проволоки».

А мы с Петровским здесь ошалели от ежедневной работы в уборных...

Один из китайцев умер. В помощь нам никого не давали, несмотря на то, что в бараках было много людей, изнывавших от безделья.

У китайцев блестящие волосы, вероятно, жесткие, как конская грива; косо поставленные глаза, за чернотой которых нельзя уловить выражения; чуть тронутые растительностью лица и ровный ряд длинных зубов.

Я силюсь представить себе лицо умершего. Изо дня в день он шел рядом со мной в одной запряжке. А сейчас, когда он свалился и его бросили в яму, я не могу его вспомнить. Выходя на работу, он сразу

брал на себя самую неприятную ее часть. При этом он ничего не говорил, очевидно, считал в порядке вещей, что европеец, даже будучи в одинаковом с ним положении, должен чем-то от него отличаться.

В первый раз, когда нам дали скудную похлебку, мы предложили китайцам занять место рядом с нами. На желтых лицах заиграли ярко-красные пятна. Они чрезвычайно сконфузились, и нам стоило больших трудов заставить их есть из одной чашки с нами. Я решил уступить, полагая, что им вольготнее кушать одним. Вмешался Петровский, который заявил, что в китайце, пробравшемся через десятки стран, чтобы попасть на горе себе в стрелковский лагерь, сильнее дух интернационализма, чем в нас. Мне показалось это смешным, но, когда китаец через несколько дней подошел к Петровскому, хлопнул его по плечу и с широкой детской улыбкой сказал что-то ласковое, я понял, что прав был Петоовский.

Иногда я издали наблюдал за ними. Принужденная улыбка исчезала с их лиц, и они подолгу беседовали друг с другом. Вероятно, говорили о доме, которого они не увидят; о длинном пути, проделанном от китайской деревушки до польского лагеря, и о безнадежном положении, в котором они очутились.

Они редко улыбались, но я не видел их смеющимися. Улыбка была жалкой и заискивающей.

И после смерти товарища у оставшихся трех китайцев лица были такие же обыденные, как и во все дни нашей совместной работы. Только, когда мы сели в обеденный перерыв за котелок с супом и один из китайцев, человек неопределенного возраста, вытащил из бездонного кармана синих шаровар две деревянные ложки, другие два китайца о чем-то быстро заговорили на своем языке и перестали есть. Наши уговоры не помогли, и мы вынуждены были с Петровским осилить весь котелок.

Было чему поучиться у этих людей: они много и безропотно работали, мало ели и на их лицах всегда лежала печать бесстрастия.

Петровский обладал уменьем живо схватывать на лету виденное. Его способности рисовальщика и, главное, карикатуриста были нами давно оценены по заслугам. Дружеские шаржи заставляли нас искренно и долго хохотать в редкие минуты отдыха, выпадавшие на нашу долю. Это было в те времена, о которых мы вспоминали теперь с нежностью и с болью в душе — до нашего позорного пленения.

Но даже и здесь, в этой кошмарной обстановке, на случайно подобранном лоскуте бумаги Петровский «баловался» случайно уцелевшим карандашом. Само собой разумеется, что его «полотна» тут же подвергались уничтожению, так как никаких письменных принадлежностей заключенным не разрешалось иметь, а «улики» могли скомпрометировать их обладателя.

На другой день после смерти китайца он передал трем оставшимся китайцам набросок их умершего товарища. Они долго рассматривали рисунок, потом один из китайцев засунул его глубоко за пазуху.

С этих пор китайцы стали оказывать Петровскому исключительные знаки внимания, как будто он был не такой же золотарь, как и мы, а мандарин первого ранга.

Они оценили художника не только за силу его таланта, но и за товарищеское чувство, которое руководило Петровским, когда он наносил на бумагу монгольские черты красноармейца.

На следующий день, когда мы были на работе, к нашей артели примкнул еще одни товарищ—цыган. Его привели два конвойных и передали нашей охране.

Он подошел к нам, сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Эх, ребята, и работу же вам дали!

Толкнул в спину китайца, да так, что тот пригнулся к земле, и ободряюще сказал:

— Работай, ходи веселей!

А сам тут же присел и стал крутить козью ножку.

За весь день он ничего не сделал, только покрикивал на китайцев.

У него были крепкие мускулы, которые не ослабевали даже в условиях полуголодного существования в лагере. Его боялись. Жил он особняком, ни с кем не водя компании.

Солдаты не смели его беспокоить, так как он однажды оказал Вагнеру большую услугу.

У Вагнера заболела лошадь, которой он очень дорожил. В эти дни капитан рвал и метал, посылал солдат помногу раз в город за ветеринаром, но тот не смог ничем помочь лошади.

Настроение Вагнера сказалось на всей команде: унтер, получивший однажды от Вагнера особенно сильную нахлобучку, отыгрался на конвойных.

Цыган, случайно узнавший от охраны, что у Вагнера издыхает конь, предложил свои услуги. После отказа ветеринара лечить лошадь Вагнер, очевидно, решил, что он ничем не рискует, если примет предложение нежданного целителя. Тот два дня провозился с лошадью, а на третий день вывел ее за повод, вскочил на нее, свистнул, и лошадь галопом понеслась к забору.

Перепуганные часовые вскинули ружья на прицел.

Солдаты привыкли к привилегированному положению цыгана и не обращали внимания на то, что тот лодырничает. Меня и Петровского это бесило. Китайцы молча выполняли свою работу, стараясь не сталкиваться с цыганом. В их глазах последний был могущественным человеком, которому покровительствует главный начальник. Видя возмущение Петровского, они стали работать еще усерднее. Они пони-

мали, что всякая склока между нами кончится поркой, и принимали все меры к тому, чтобы компенсировать «прогул» цыгана.

Для нас было непонятно, почему цыгана направили на штрафную работу. Его заслуги перед Вагнером были неоспоримы, а о каком-нибудь важном проступке с его стороны мы не слышали.

У Петровского закралось подозрение, не подослали ли к нам этого молодца с провокационной целью.

Возвращаясь с работы, он поделился со мной этой мыслью, и мы решили быть сдержаннее с нашим новым товарищем по работе.

На следующий день повторилось то же: цыган неустанно дымил, ничего не делая.

Обычно сдержанный Петровский во время обеденного перерыва подошел к нему, обнял его за талию и стремительно подмял под себя. Сконфуженный цыган хотел подняться, но Петровский движением руки снова пригнул его к земле. Проделав это несколько раз, он отошел в сторону.

Цыган посмотрел в сторону конвойного. Тот грелся на солнышке, не замечая происходящего.

Китайцы с любопытством наблюдали за этой сценкой. В их косых глазах пряталась усмешка.

Цыган легко вскочил и подошел к китайцам. Он был сердит и старался затеять драку.

Петровский, нахмурясь, ждал развития событий.

Китайцы поднялись и приступили к работе. Цыган шел за ними по пятам. Один из них, с проседью на висках, нечаянным движением опрокинул ведро с вонючей жидкостью. Цыган, ругаясь, отскочил в сторону, присел на камень и закурил.

Больше мы цыгана на работе не видели.

Осень дает себя чувствовать. По ночам в бараке нестерпимо холодно. Работу мы прекращаем часам к пяти и потом целыми вечерами, лежа на нарах, обсуждаем перспективы. Говорим осторожно, как бы не решаясь нечаянно обронить затаенную мысль: неужели в этом аду придется прожить и зиму?

По лагерю гуляет новость: будут набирать пленных для работы в лесу.

Нами овладевает лихорадка. Вырваться из барака, прожить несколько недель в лесу, подышать вольным воздухом — неужели мы упустим эту возможность?

Снова возникает мысль о побеге.

Необходимо действовать. Но как и кому внушить мысль о необходимости послать именно нас, а не других товарищей на лесоразработки? Долго обсуждаем этот вопрос, но к окончательному решению не приходим. Остается дожидаться естественного развития событий.

Проходит несколько дней. У Петровского и Шалимова созревает оригинальный план. Они решаются завоевать расположение нашего унтера Яна Пшездецкого. Ему на вид не больше тридцати лет. В нем чувствуется желание во что бы то ни стало выслужиться перед своим начальством. Он скуп на слова, педантичен при исполнении своих обязанностей и строг с подчиненными. Рукоприкладствует он с чувством одному ему ведомой меры, избегая встречаться глазами с истязуемым. Мы склонны были объяснять такого рода «деликатность» его хрупким телосложением. Он был невысокого роста, его лицо с нездоровым серым оттенком, впалая грудь и костлявые плечи несомненно свидетельствовали о наличии какой-то болезни, подтачивающей его организм. Это обстоятельство служило, вероятно, причиной его нахождения здесь, в тылу, а не на фронте, куда отбирались наиболее здоровые и выносливые.

Мы не знали прошлого этого человека, да по существу оно нас мало и интересовало. Мы твердо были убеждены в том, что его, как и тысячи других ему подобных выходцев из трудовой крестьянской среды, изуродовала система, тлетворный дух человеконенавистничества и зоологического шовинизма, усиленно внедрявшегося в их бесхитростные мозги начальниками, прошедшими прославленную школу управления людьми в русско-австро-германской армии.

От Пшездецкого зависело разрешение вопроса о посылке нас в лес.

Вести с ним открытые разговоры на эту тему, просить его было бесполезно и не безопасно.

Тогда Петровский и Шалимов решаются на обходный маневр. Уже давно они заметили, что маленькие серые глаза пана Яна часто задерживались на их широкоплечих фигурах.

Эти люди, именовавшиеся большевиками, подвергавшиеся в течение продолжительного времени неслыханно жестоким истязаниям, обрекаемые на дальнейшие издевательства и голод, сумели сохранить сознание своего человеческого достоинства, а главное — сумели пережить их и, вероятно, не покидали надежды на коренное изменение существующего положения.

Какие силы изнутри поддерживали их, полураздавленных, но упорно не сдающихся, откуда, из каких ресурсов черпали они свое мужество, свою непоколебимую веру в правоту дела, творимого руками их братьев там за кордоном, в Советской России?

После истории с цыганом, неведомо как дошедшей до унтера, акции Петровского особенно сильно повысились в глазах Пшездецкого. Не изменившие Петровскому физическая сила и выносливость еще больше расположили пана Яна к этому великану, и с него расположение переносилось на всю нашу груп-

пу. Правда, это обстоятельство ни в какой мере не отражалось на применявшемся в отношении нас режиме. Он оставался прежним. Но Петровский учуял больную струнку унтера и на ней решился сыграть. Несколько раз, как бы случайно, он демонстрировал в присутствии последнего свою ловкость, привлекая обычно к соучастию Шалимова, Грознова и реже меня и Сорокина.

В дни томительно-напряженного ожидания, пошлют или не пошлют нас в лес, Петровский с Шалимовым, рискуя навлечь на всех нас репрессии, разыграли по окончании работы перед оторопевшим унтером сцену ссоры. Оба состязавшихся, предварительно между собой сговорившись, наносили друг другу удары по всем правилам бокса, поочередно взлетая на воздух, прокатываясь кубарем и молниеносно вставая на ноги.

Мы принимали участие в «примирении» дерущихся и были награждены несколькими плетками и водворены в барак.

Пшездецкий после этого, хотя и искоса, но более дружелюбно, чем всегда, поглядывал на нас и включил всех пятерых в список подлежащих отправке на лесоразработки.

Утро. Быстро шагаем вперед. Правда, мы под зорким наблюдением конвоя, но это обстоятельство не омрачает нашего настроения. Слишком прекрасно солнце, спокойное осеннее солнце, слегка золотящее придорожные ракиты. Мы окрылены надеждами, и чем больше удаляемся от ненавистных стен нашего барака, тем бодрее шаг и вольней дыхание.

Впереди меня широкие спины галичан. У одного из них сбоку висит сверток. Рука цыгана быстро просовывается через наш ряд и ловким движением срывает сверток. Мгновение — и цыган спокойно шагает

позади нас в своем ряду. Галичанин оборачивается и узнает свой сверток в руке цыгана. Одним ударом он бросает его на землю и начинает душить. Цыган барахтается, как щенок в лапах медведя.

Конвойные прикладами прекращают драку.

У цыгана вывихнута рука. Он бредет в последних рядах и откровенно грозится при первом удобном случае убить галичанина.

На привале к цыгану подходит Петровский, вправляет ему руку, после чего говорит:

— Тронешь галичанина, — я тебе голову сверну.

Цыган сконфуженно отходит в сторону и всю дорогу жмется к конвойным.

Я удивляюсь тому влиянию, какое оказывает Петровский даже на такие анархистские элементы, как цыган. Мне стыдно за свою недальновидность, проявленную при нашей первой встрече: я принял тогда Петровского за заурядного парня с крепкими кулаками.

Дорога идет в гору. За гоюой лес. Чувствуем, что вновь возвращаемся к жизни.

— Чоота с два мы вернемся! — сказал Петровский, выходя из лагеря.

И мы все дружно с ним согласились.

После нескольких часов ходьбы подошли к узкоколейке. Уселись на открытую платформу и добрались до деревни Слупцы.

Это был тот пункт, в районе которого мы и должны были вести работу. Нас разместили в стороне от деревни, в скотном дворе какого-то шляхтича, расположенном вдали от всех зданий и огороженном забором; на одном конце помещались овцы, а на другом мы. Помещение показалось нам подлинным раем. Спали мы на навозе.

— Хорошо, мягко, тепло! — восторженно шептал Грознов. — А главное — спокойно.

Во вторую же ночь придумали себе забаву. Шалимов подобрался к овцам в другом конце двора (как только начал клевать носом охранявший нас конвоир), молниеносным движением выдернул из кучи испуганных овец одну и легко перебросил ее через забор. Овца беспокойно заблеяла, заметалась в страхе за дощатой перегородкой, отделявшей нас от внешнего мира.

Проснулся часовой, бросился в наш угол, чтобы проверить, не убежал ли кто-нибудь из нас.

А солдаты, стоявшие на наружных постах, не разобрав, в чем дело, открыли пальбу в воздух.

Стало весело и шумно.

Мы покатывались от хохота.

Недоразумение разъяснилось, овцу водворили на место, наш конвоир снова уселся у ворот и продолжал мирно дремать.

Мы встаем с первыми петухами. На работу нас выгоняют через те же ворота, что и скот. Пока собирают партию, мы дрожим от утреннего холода. Свежий ветерок колышет тряпку на заборе. Она реет, как флаг на мачте корабля.

Унтер стоит перед рядами и проверяет пленных. Мимо нас с узлом белья проходит к речке крестьянка. Не прерывая проверки, унтер задом толкает женщину. Конвой начинает ржать, пленные вторят. Унтер доволен собой и победоносно крутит ус.

На дороге маячат голые икры женщины. Их провожают десятки голодных глаз.

Раздается команда, и мы двигаемся. Проходим с версту. Нас разделяют на группы. К каждой группе прикреплено несколько конвойных. Одни наблюдают за рубкой, другие сопровождают нас, когда мы на себе тащим охапки дров.

Уже через несколько дней у всех нас от тяжести

ноши облезла кожа на плечах, тем не менее мы предпочитаем эту работу.

В лесу тихо. Редкая молодая сосна и поросли орешника. Ногу ласкает мягкий мох. Сквозь ветки деревьев виднеется небо — то бирюзовое, то задернутое облаками.

Конвойный дремал. Мы не склонны, да и не смеем его беспокоить. Ложимся рядом в ложбине и глядим в небо. Грознов сочиняет вслух стихи:

В лесу растут гиганты-сосны,
В лесу лужайки и цветы.
Но все же штык конвойных острый
Мелькает грозно сквозь кусты.
Однако час придет свободы,
Мы отберем у вас штыки
И отомстим за все невзгоды,
За все обиды...

— Прентко, холеро! — просыпается конвоир, и незадачливый поэт быстро хватает с земли свою вязанку дров, сосед помогает ему взваливать ее на спину. То же проделывают другие, и вся группа гуськом тянется к узкоколейке.

Я не справляюсь с ношей. Гигант-галичанин свободной рукой легко поддерживает мою вязанку, а когда я благодарю его, он конфузится и делает вид, что не понимает моих слов.

В общем жили мы в лесу довольно дружно.

Сорокин стал приходить в себя. Повидимому, перемена обстановки подействовала на него хорошо.

В нашем «жилище» было громадное количество насекомых, но это не смущало. «С паразитами жить можно, а с палачами нельзя». Кто мог возражать против этого простого положения, сформулированного Шалимовым?

Мы превращены в тягловую силу. Но, конечно, это гораздо более почетная работа, чем вывозка нечистот из уборных.

Надо признаться, что кормили нас сносно. Ежедневно давали по фунту хлеба на человека, суп с картошкой, иногда даже кашу с растительным маслом, кофе с сахаром. Словом, мы чувствовали себя полусытыми.

Скверно было только то, что за нами всегда по пятам следовала охрана. Она буквально не спускала с нас глаз. Повидимому, соответствующая инструкция была получена в лагере от Малиновского и Вагнера.

В таких условиях побег представлялся делом не легким. А разве мы могли отказаться от этой мысли?

С первого же дня нашего пребывания в лесу мы начали подготовку к новому побегу. К великому нашему несчастью, спустя месяц заболел Шалимов. Трое суток он боролся с болезнью, и мы старались скрыть заболевание товарища от охраны. Потом дежурный обнаружил среди нас больного и доложил унтер-офицеру. Тот распорядился отправить Шалимова в лагерь. Его увезли утром, когда мы отправлялись на работу. Мы подложили под голову товарища мешок, набитый мхом — все, чем мы могли услужить Шалимову. Некоторое время мы шли с телегой, затем свернули в сторону и потеряли телегу из виду. Больше мы Шалимова не видели.

Погода испортилась. Моросит дождик. Мох набухает от влаги, дорога к узкоколейке намокла, и ноги скользят под тяжестью ноши.

Конвой злится на непогоду и вымещает это на пленных.

Начинает рано темнеть, и конвой засветло торопится пригнать нас в сарай, не доверяя нам.

И это понятно: стоит любому из нас в быстро надвигающемся мраке встать за дерево — и конвой бессилен его найти.

В дощатой загородке для овец с каждым днем

становится холоднее; сквозь щели просачивается дождь.

Конвойные, боясь темноты, теснее окружали нас и, чтобы не дремать, вступали с нами в беседы. Это было обычно хвастовство своими победами над красными и уверения, что Москва будет взята в ближайшие дни.

Мы вынуждены были выслушивать их, делая вид, что принимаем их сообщения как вполне достоверные, не вызывающие у нас никаких сомнений. Прибегая к этой дипломатии, мы рассчитывали усыпить бдительность охраняющих нас солдат.

Мы давно не имели точных сведений о положении красных. Молодая Республика советов подвергалась жесточайшему нападению на всех границах в тот момент, когда наши части продвигались вслед за немцами, освобождавшими в 1919 году территорию Польши, захваченную ими во время империалистической войны.

Надо вспомнить обстановку в РСФСР в то время. Белые наступают на Дону, на Украине, на севере. Заводы и фабрики бросают свои лучшие силы на защиту революции. Вся страна в тревоге — в такое время мы были переброшены на польский фронт.

События в Вильно оторвали меня и моих друзей от всего родного. Нараставшую наглость польской военщины мы расценивали как результат наших неудач на фронте. Кто из нас мог предполагать, что придет пора, и конница Буденного будет гнать к стенам Варшавы блистательную шляхту?

Чтобы добиться каких-либо сведений о положении на фронте, мы старались сблизиться с интернированными в лагере беженцами, надеясь узнать у них о действительном положении, но обыватели были запуганы, заняты только собой и всячески уклонялись от ответов.

В темноте загона я вспомнил наши бои за Вильно.

Поляки предполагали использовать все способы защиты города. Мы отлично понимали, что взять Вильно будет очень трудно. Надо было мобилизовать все наши силы, тщательно продумать стратегический план наступления на город. Потеря Вильно для поляков означала отказ от захвата Литвы, предвещала утрату влияния на Привислинский край.

— Надо быть ко всему готовым, — сказал ротный командир на одном из привалов. — Поляки будут бороться за Вильно не на жизнь, а на смерть. Они сюда бросили все свои надежные части. На такие молниеносные успехи, как до сих пор, нам на этот раз надеяться нечего. Упорство, настойчивость, мужество и энергия!

Мы выслушали нашего командира, приняли все его указания к сведению, но были убеждены, что какое бы сопротивление нам ни оказали поляки под Вильно, все равно им не остановить движения лавины, воодушевленной стремлением дойти до Варшавы. (К сожалению, наши красные части, взяв Вильно, потом должны были отступить).

Вскоре мы пришли в соприкосновение с передовыми отрядами поляков. Они действительно оказали нам бешеное сопротивление. Но и наш напор был неудержим. Передовые части поляков не могли устоять против атак Литовской дивизии и отступили.

В конце марта, в ясный погожий день, между нами и поляками завязалась крупная перестрелка. На наш полк выпала почетная задача: нам поручено было провести наступательную диверсию, чтобы отвлечь внимание поляков от первого и второго кавалерийских батальонов нашей дивизии, которые с левого фланга должны были прорвать цепь поляков и обойти Вильно с тыла.

Мы оказались на высоте — задача была выпол-

нена блестяще. Нам удалось отвлечь значительное количество польских сил. Целую ночь палили без передышки наши орудия. Тем временем наши части упорно шли в обход. Мы с нетерпением ждали от них какой-нибудь весточки. На рассвете поднялось зарево в тылу у поляков. Стало ясно, что наши ребята благополучно выполнили задачу — обошли противника, вызвав панику в тылу у поляков, никак не ожидавших такого смелого маневра с нашей стороны.

— Сейчас наступаем, — сказал Шалимов. — Смотри, наши уже в тылу орудуют. Эх, жаль нет с нами Петровского! Вот рад был бы вступить в Вильно. Где он сейчас, в каких частях!

Нашу беседу прервала команда:

— Пулеметы, огонь!

И под прикрытием пулеметов начались частые перебежки наших частей на левом фланге. Стали вновь жарко палить орудия. Четвертый взвод начал перебежку звеньями. Вскоре дошла очередь и до нас. Благополучно перебежали.

Трещат во-всю пулеметы, но поляки держатся крепко. Приходит известие, что враг начал эвакуацию Вильно. Стало быть, у них уже исчезла уверенность, что удастся город отстоять. Нужно обязательно и дальше с такой же энергией нажимать, тогда успех обеспечен.

Совершенно забыли о еде. Походные кухни остались где-то далеко за нами. Наши части, действовавшие в тылу, между тем продолжали свою разрушительную работу. К утру они крепко ударили на поляков. Опорный участок поляков был занят — мы вступили в Вильно.

Нашему полку было приказано двигаться по пятам отступавших поляков, не задерживаясь в Вильно. Командир бригады произнес краткое напутствен-

ное слово, и мы немедля двинулись дальше, не давая полякам отдохнуть ни на одну минуту.

Буквально на плечах противника мы ворвались в местечко Кошедары, открывавшее дорогу на Ковно.

Поляки попытались было закрепиться в Кошедарах и не хотели отходить. Но наши силы не позволили им этой передышки.

Мы завязали с ними жаркий бой.

Вскоре прибыл приказ закрепиться в местечке Жосли. Наши начали переговоры с немцами, установили демаркационную линию, началась дипломатическая волокита.

Немцы старались выгадать время. Переговоры в местечке Кошедары стали затягиваться.

Тем временем пошли дожди. Хлеба в армии нехватало. Набеги поляков то на один, то на другой наш участок участились. Началась упорная позиционная борьба с переменным успехом. К несчастью, именно в этот период в наших частях появился сыпняк, который стал косить бойцов.

В моей роте уже заболело несколько человек, в том числе и наш любимый ротный командир Павлов.

Однажды я почувствовал себя плохо, но, не понимая, что недуг сковывает и меня, продолжал участвовать в боях, обороняя местечко Вамишули, которое стало нашей заставой.

На местечко усиленно наседали польские отряды. Мы приняли бой с ними. В течение нескольких часов длилась перестрелка. Поляки в конце концов захватили местечко и стали строчить по нас из пулеметов.

Отступив, мы решили обойти Вамишули, так как в лоб занять местечко было невозможно. Пустили десяток человек в обход, а с остальными бойцами удерживали натиск противника. Наши обошли поляков и открыли огонь с тыла. Поляки удрали, оставив несколько убитых.

— Вамишули взят, — протелефонировал командир батальона в полк.

Это была последняя фраза, которая дошла до моего мозга. Тиф оказал свое действие: я потерял сознание.

Очнулся я через много дней в Виленском военном госпитале. Это было в тот день, когда наши сдавали Вильно.

От далекой Олонецкой губернии через Торопец, Вильно, полевой госпиталь, Калиш, Стрелково я дошел до загона для овец, который станет моим гробом, если не удастся сбежать.

Грустная история...

Петровский угрюм. С тех пор, как увезли Шалимова, он почти не разговаривает. И немудрено — он очень к нему привязан.

Я не хочу беспокоить Петровского и ищу в темноте сарая другого друга, с которым мы вновь встретились на работах в лесу. Это Исаченко, строгий командир, который вводил дисциплину в наших первых воинских формированиях. Тоже одна из немногих уцелевших жертв польского плена.

Я с беспокойством делюсь с ним своими мыслями о последствиях дальнейшего промедления в побеге. Работа заканчивается. Декабрь на носу. В одно прекрасное утро нас погонят обратно в бараки, и тогда прощай мысль о свободе.

Моя тревога передается Исаченко. Он соглашается со мной, что медлить нельзя, и мы тут же решаем бежать всей группой из плена в ближайшие дни.

6. Последние дни на лесоразработках

Положение дрянное. То, чего не могли сделать польские шомполы, сделала вошь. Заболели Грознов, Сорокин и Николай, которого мы подобрали во время первого побега у злополучной сторожки.

Когда товарищей укладывали на подводу, они были уже без сознания. Чувствуя себя больными, они долго, дней восемь, крепились, страшась очутиться в положении Шалимова.

Какая обида: быть на пороге иной жизни (а мы не сомневались, что побег осуществим) — и вернуться в Стрелково, в царство Вагнера и Малиновского!..

Возница, местный крестьянин, подстегнул лошаденку, та прошла несколько шагов и остановилась.

Петровский подошел, приналег плечом, лошаденка рванулась и вытащила возок из болотца. За поворотом печальная процессия скрылась.

Из биографических обрывков, которые в томительно долгие, мучительные дни плена я слышал от друзей, я склеиваю книгу их жизни.

Обычная история тех лет, когда героем является молодой парень, заглядывавший в лицо смерти на Карпатах, во Львове, Тарнополе, Риге и всех прочих местах, где снаряды рыли могилу для рабочего и крестьянина.

1914 год. Мобилизация. Винтовка и скотские вагоны. Гармоника и теплушка, плач баб на вокзалах.

Кокетливые косынки сестер милосердия. Новенькие погоны офицеров. Бесконечные марши по глинистым дорогам Галиции и Польши. Тяжесть винтовки на плече. Обе полы намокшей шинели в руках.

Обгоняет штабной автомобиль, обдает грязью, комья летят в лицо. И опять бесконечный топот солдатских сапог.

Окопы. Над головой тоненькое бревнышко, а ноги выше колен в воде. Разрываются снаряды и устилают дно вонючей канавы сотнями трупов.

Год, другой, третий. Те же сырые окопы, свист пуль, вой снарядов и черствый солдатский хлеб, который поедается тут же, рядом с разлагающимся трупом убитого товарища.

Вошь. Серая фронтовая вошь, кажется, тогда впервые получает право всероссийского гражданства.

Она подтачивает наши покрытые коростой тела. Тяжелый, одуряющий запах испражнений. Серое, свинцовое небо. Зуботычины фельдфебелей, унтеров и молодых, безусых, свежеиспеченных прапорщиков. И где-то в глубине сознания, подавленного безысходностью, копошится одна назойливая мысль.

Зачем? Во имя чего? За кого мы воюем?

Бесконечные составы товарных вагонов подвозят свежие партии необстрелянного пушечного мяса, которое завтра же будет ввергнуто в ненасытную пасть войны. Короткие корявые строки получаемых солдатских писем из самых отдаленных концов России не радуют: они пронизаны той же безысходной тоской. Безрадостная крестьянская «жисть» стала еще горше. Кормильцы на фронте проливают свою кровь за отечество, а покинутые ими семьи предоставлены самим себе, оставлены на милость урядников и становых.

Поля стоят неубранными, пала последняя лошаденка, телку за недоимки списали, дед Афанасий помер от плохо вправленной грыжи, а жена Маланья путается с пленным австриякой. Таков общий рефрен этих писем.

Здесь по одну сторону — безликая серошинельная солдатская масса, замордованная, забитая, безжалостно посылаемая на верную гибель бездарными военачальниками. И офицерское сословие — тупое, чванливое, держащееся особняком, боящееся запятнать себя, свою честь хотя бы намеком на человеческое отношение к Иванам, которые, по их понятиям, должны беспрекословно выполнять волю золотопогонных господ. Но худшим видом паразитов на теле истекающей кровью армии является штабная сволочь и бесчисленные молодчики земгусарского типа.

А за сотню верст от позиций идет неторопливая

тыловая жизнь. Электрические солнца заливают ослепительным светом нарядные улицы и проспекты, в ресторанах и кафе гремит музыка. В домах люди спят, раздеваясь, в чистых постелях, ласкают своих жен и любовниц. Они не знакомы со вшами; им нет никакого дела до окопного быта, до ядовитых газов, оторванных рук и опустошенных жизней когда-то полных энергии и сил молодых людей.

За колючей изгородью проволочных рядов в тех же окопах, только более комфортабельно устроенных, такие же Иваны, насильственно оторванные от заводов и полей, облаченные в шинели защитного цвета и носящие у себя на родине имена Иоганнов, Фрицев, Карлов и Куртов.

«Борьба за право на жизнь, на труд. Борьба за свободу против угнетателей, за эксплоатируемых — против эксплоататоров, за мир — против войны». Эти лозунги вернули к жизни моих товарищей. Ныне их везут умирать в Стрелково, в лагерь палачей.

Не видели жизни, забыли про ласку, годами не знали кровли над головой... Неужели они кончат жизнь в жутком бараке, и телега напуганного конвоем мужичонки, жалкая телега, с которой их помутневшие взоры еще видели простор широких полей, будет последней нитью, на которой оборвется их связь с нами?

Петровский уводит меня за руку от ворот.

Я лежу, укрытый его знаменитым пальто с бархатным воротником.

Закрыв глаза, я ясно вижу лица трех и переживаю жизнь каждого из них, простую, бесхитростную и героическую жизнь, сотканную из лишений и труда.

Грознов с шестнадцати лет в провале темной мастерской на заводе. Окна с решетками высоко. На них вековая пыль. Сквозь нее не проникнуть солнцу.

В темноте визжат станки. Зазевался — оторвут руку.

Первая прокламация. Кружок. Митинг. Нагайки казаков. Жажда мести, борьбы и упорство в борьбе за правду. Обидчивость юности, которой остерегается группа старых революционеров на заводе, спаянных пятым годом.

Спутался с анархистами. Кипела неуемная сила, хотелось бунта на весь мир. Снабдили наганом, слегка подучили стрелять из него и отправили в налет на магазин. Кого-то, кажется, ранил. Было все это до того нелепо и так далеко от героического подвига, что забыл и думать о последствиях. Последствия были, однако, далеко не смешные, и сообразил Грознов это как следует лишь тогда, когда арестовали и приговорили к трем годам каторги. Отбыл он их добросовестно и там научился многим вещам, которые изменили направление его мыслей.

Тюремные годы Грознов провел в обществе настоящих борцов, вооруженных теорией Маркса и твердо знавших, за что и за кого они борются. Они сделали из беспочвенного бунтаря Грознова революционера. Пришел он в тюрьму анархистом, а вышел на свободу большевиком.

Из города направился в родную деревню: захотелось пожить на земле после трех лет неволи.

В деревне произошло убийство, и так как знали, что Грознов вернулся из тюрьмы, то для деревенского начальства проще всего заподозреть убийцу в каторжнике с репутацией налетчика. Дело оборачивалось довольно скверно. Становому приставу хотелось сразу убить двух зайцев: уничтожить крамолу и найти убийцу. Грознову стоило большого труда отбиться от наскоков станового, приготовившего уже соответствующий рапорт исправнику о поимке важного преступника. Тянули на допросы, били. Чудом удалось увернуться от ареста и поехать в город, где

после долгих мытарств, — ведь был Грознов уже клейменый, — поступил рабочим на завод.

Донос, отправка на фронт, ранение, госпиталь и отставка вчистую.

Выступление на митинге и снова тюрьма, баланда и клопы. В тюрьме, набитой доотказа, новые люди, десятки рабочих, арестованных за антивоенную пропаганду.

Февральские дни. Свобода. Опять с большевиками против Милюкова, Корнилова, Керенского.

Октябрь. Надо было устанавливать власть советов, и Грознов в самых опасных местах, в осиных гнездах контрреволюции.

Вшивые теплушки, худые сапоги, резиновый плащ зимой. Женитьба на ходу. Сын, родившийся во время отступления, на Украине.

Маленький городишко, обещание товарищей помочь семье, и опять походы, недоедание, борьба и плен.

Временами припадок тоски по семье и постоянное стремление вновь включиться в борьбу.

Вся жизнь в борьбе. Никакой позы.

Такова биография товарища, запечатлевшаяся в моей памяти по немногим рассказам, выслушанным за долгие дни совместной муки в бараке. Нигде не записанная, протокольно-сухая, она погибнет в мертвецкой стрелковского лагеря.

Я говорю об этом Петровскому.

— Оживет, — отвечает он. — У революции будут свои поэты. Из тысячи таких жизней они создадут поэму о героической борьбе старого и нового мира. И когда кости Вагнеров и Малиновских давно сгниют в земле, когда их могилы уже будут распаханы, героизм наших товарищей все еще будет жить в памяти грядущих поколений.

Мы сиротливо жмемся друг к другу, а за стеной уже просыпаются овцы.

В лесу тоскливо.

На оголенной земле сухие ветки.

Деревья, холодные, понурые, спят мертвым сном.

Мы одиноки в лесу. И в поле никого. Раньше мы хоть изредка встречали в поле крестьян. Они бросали работу и провожали нас глазами так же, как проходящий поезд.

Но поезд не был страшен. Он не был окружен винтовками. Мы же замкнуты кольцом конвойных. Крестьяне их боялись, и даже мальчишки не рисковали близко подойти к нам.

Деревня была, очевидно, в нескольких верстах от нас. Дорога в городишко проходила невдалеке от нашего сарая. Иногда, когда мы шли с работы, мы встречали обоз в десять-пятнадцать подвод. Это соседние крестьяне возвращались из города, куда ездили за покупками.

Надо отметить, что запасы заготовленных нами за день дров к утру значительно таяли. Очевидно, их растаскивали ночью крестьяне. Мы не сердились за это: мы знали, как тяжело живется крестьянину. Да к тому же не в наших интересах было ускорить заготовку того количества дров, которое требовалось для лагеря. Наоборот, мы рады были бы оттянуть срок возвращения в лагерь. Конвойные тоже не реагировали на кражу дров. Мы полагали, и не без основания, что они в этом деле заинтересованы материально.

Мы были крепко и надежно изолированы от крестьян, но все же могли заметить в немногих встречах с живыми людьми, встречах на расстоянии сотни шагов, отсутствие враждебности к нам.

Крестьяне несомненно знали, что мы русские пленные, а для них это значило, что мы большевики.

однако ни одного угрожающего движения в нашу сторону, ни одного злобного выкрика по нашему адресу я не запомнил за эти месяцы пребывания на работе в лесу.

Однажды в лесу, на том участке, где работали галичане, мы нашли несколько пар лаптей. Все пленные сошлись на том, что лапти в это место попали не случайно, а были оставлены для нас крестьянами.

Справа, за загородкой для овец, сразу начинался густой лес. Дорога шла в гору, но что было по ту сторону горы, мы не знали.

Старший по команде часто уходил туда и возвращался почти всегда навеселе.

Конвойные ругались и говорили, что он пропивает деньги, которые причитались команде.

В свою очередь они пропивали деньги, которые брали у крестьян за продажу заготовленных нами дров.

Выпал первый снег и сейчас же растаял. Ждать более нельзя было. Каждый день нас могли возвратить в лагерь. Мы нервничали до того, что даже не съедали нашего хлеба. Пробовали прятать его для дороги, братва заметила и стала бесцеремонно тащить на наших глазах.

Команда совсем распоясалась: пила во-всю, чувствуя близость возвращения в лагерь и конец вольного житья.

Побои на работах вообще были редки (сказывалось отсутствие офицеров), а в последние дни и совсем прекратились. Мы осмелели настолько, что вступали даже в разговоры с некоторыми из конвойных.

Близилось рождество.

Наши конвоиры, готовясь к празднику, позабытые старшим, пьянствовали уже несколько дней подряд.

Мы решили осуществить побег. Момент казался нам наиболее подходящим.

Нас охранял молодой солдат по фамилии Невядомский. Мы предварительно установили с ним более или менее приятельские отношения. Парень любил лесть, и мы его величали чуть ли не «паном полковником». Ему, безусому, нравилось относиться к нам, солидным людям, снисходительно. Иногда он даже покровительствовал нам: кой-когда давал лишнюю порцию хлеба, угощал табаком, а раза два предлагал принести спирт.

7. *Второй побег*

Наступил вечер.

Мы попросили Невядомского разрешить нам отлучиться, чтобы согреть кипяток. Он сначала не соглашался отпустить всех четверых, но несколько наших льстивых фраз о его могуществе помогли нам, и он дал свое согласие.

Мы двинулись со скотного двора, добрались до скирды соломы и спрятались за ней.

Сделав передышку и убедившись, что все нам пока благоприятствует и наш добрый страж Невядомский продолжает сохранять спокойствие, мы бросились сломя голову по направлению к лесу. Там, уже не опасаясь преследования и имея возможность в крайнем случае спрятаться за деревьями, пошли медленнее.

Уже через час мы почувствовали безмерно радостное ощущение свободы, по которой так истосковались в стрелковском лагере.

Итак, мы совершили второй побег из польского плена.

На этот раз мы двинулись вчетвером: Петровский, Исаченко, я и один старый «заслуженный» пленный, захваченный еще немцами, по фамилии Бо-

рисюк. Его мы взяли с собой потому, что он свободно говорил по-немецки. И не ошиблись: в дальнейшем он оказался незаменимым и сыграл немалую роль в нашей авантюре.

Радость наша омрачалась печальной судьбой Грознова, Сорокина, Николая и Шалимова. Сердце щемила боль при воспоминании о друзьях, с которыми мы так сроднились в плену...

Сорокин сейчас, должно быть, валяется в углу барака и, может быть, слышит, как Малиновский спрашивает: «Цо, сдех, собака?»

Сорокин часто настойчиво спрашивал каждого из нас, как бы изловчиться переслать письмецо на родину.

Мы смотрели на него с недоумением. «Рехнулся парень. что ли?» — думал каждый из нас.

— А вот для тебя аэроплан закажем, на нем и отправишь свое послание! — бросали мы ему в ответ.

Это было жестоко с нашей стороны. Над ним не следовало потешаться; надо было понять, что в сущности в этом и состояла бредовая идея Сорокина — в тяге к семье, по которой он смертельно тосковал.

— Да что с тобой? — приставали мы к нему часто с расспросами, когда, мрачный и одинокий, он забивался в угол.

— Тоска меня душит, братцы. Не вернусь я обратно, помянете мое слово. Жены не увижу, убьют они меня здесь! — отвечал Сорокин.

Эта мысль так прочно засела в его мозгу, что никакие наши увещания не могли рассеять тягостного настроения Сорокина. Он ждал приближения своего конца, как чего-то предопределенного, неизбежного, с фатальной покорностью.

— Мне-то, конечно, ничего, перетерплю, а с женой что будет? Ведь когда уходил, она была беременна. Люблю я ее, да так, что сил моих нет.

В стрелковском лагере я не раз просыпался ночью от его глухих рыданий.

Сорокин происходил из подмосковных крестьян, подолгу живал в Москве, куда уходил из деревни на строительные работы. На фронте с нами дрался как храбрый боец, но, как только попал в плен, весь как-то обмяк.

Он лелеял мысль быстро кончить войну с поляками и вернуться домой. Тоска по молодой, горячо любимой жене подхлестывала его ярость против врагов, не только лишивших его свободы, но беспощадно раздавивших его как личность и подорвавших веру в личное счастье.

Он не сумел принять плен как один из незначительных и неизбежных этапов в борьбе, которую нам приходилось вести в интересах молодой советской республики.

Если даже он осилит болезнь, то все же его конец будет печален. Капитан Вагнер, начальник стрелковского лагеря, не поцеремонится с ним и расстреляет его как собаку, придравшись к любому поводу. Если бы не болезнь, оторвавшая его от нас, мы сумели бы его уберечь. В особенности влиял на него успокаивающе Петровский. А без нас, без спокойного, выдержанного Петровского поводов будет несомненно много.

Та авантюра, смелая до безрассудства, которую мы осуществляли, только при исключительно удачном стечении обстоятельств могла окончиться благополучно и довести нас до границы.

Мы не имели представления о том, как далеко отступили наши части.

Нужна была непоколебимая вера Петровского в успех нашего начинания, чтобы двигаться вперед, бог весть куда, ежеминутно рискуя наткнуться на поль-

ских солдат, густо расставленных на границе для защиты от советской опасности.

Петровскому как будто чужды были нежности, — это так не вязалось с его мощной фигурой и грубым голосом, — и тем не менее он был своеобразно ласков со мной. Во время первого побега я «ночью» просыпался иногда оттого, что кто-то меня тормошил. Это Петровский укрывал меня краем своего пальто, угрюмо бурча:

— Лежи, лежи. Тоже возишься, спать мне не даешь!

Я преисполнился к нему теплой благодарностью, но с своей стороны не рисковал проявлять нежных чувств.

«Не до нежностей тут, брат, не будь девчонкой, вояка!» — огрызнулся бы на меня Петровский.

Смутно догадывался я, что в человеке этом живет глубокая тоска по семье (у него было двое детей), но он на эту тему не разговаривал. Зато охотно делился со мной своими мыслями по поводу работы по возвращении на родину.

Это был энтузиаст новой жизни, непоколебимо веривший в ее победное утверждение.

Петровский сам не сомневался и мне не позволял усомниться в том, что мы вскоре доберемся до советских пограничных столбов. Мы должны были до них дойти! Избил бы, если бы я вздумал всерьез противоречить ему. Он часто успокаивал меня в моменты упадка духа, говоря:

— Петька, не горюй, нам бы только живым остаться, все остальное — пустяки!

Чего он только ни знал, чем только ни был! Работа с отцом в поле от зари до зари. С пятнадцати лет заводы и тюрьмы. Назовешь город, он улыбнется и бросит вскользь фразу — видно, что бывал, а что делал, не скажет и вопросов не любил.

У него была звериная ненависть к собственниче-

ским инстинктам. Среди нас было много крестьян. Обычно в споре барак делился на две части.

Крестьяне говорили, что земля крестьянская, но дальше этого не шли. Землю взять себе и сделаться самим помещиками, только разве помельче.

Вот тогда я услышал от Петровского о будущем земли, напоенной кровью рабочих и крестьян, когда власть перейдет к рабочим.

Он говорил о первобытном дикаре, ковырявшем землю мотыгой, и о машинах, которые создадут рабочие, чтобы избавить человека от каторжного труда над землей. Он рисовал радостные перспективы грядущего коммунистического строя, где не будет классов, где человек, освобожденный от угнетения другим человеком, будет творить великие ценности культуры, где каждому будет отпускаться по потребностям и от каждого браться по его способностям.

В его рассказе не было ни одного слова, непонятного пленным. Он не был мечтателем, находящимся во власти пустых бреден, он знал, чего добивается и как достигнет поставленной цели.

Кто сформировал из этого увальня человека, несомненно видящего много дальше, чем мы? Неужели только жизнь? Где он успел приобрести столько знаний? Неужели в тюрьмах?

Вот он бредет рядом со мной, а знаю ли я о нем больше, чем Грознов или другие? Вряд ли...

— Давай запутаем следы, иначе быстро нагонят, — говорит Петровский.

Побрели по тропинкам, пытаясь найти дорогу, которая позволила бы пересечь лес напрямик. Добрались до полян и снова, как при первом побеге, избрали направление на северо-восток.

План наш был прост. В первую ночь мы предполагали держаться северо-восточного направления, а потом повернуть на запад, рассчитывая, что этот

маршрут приведет нас в Восточную Пруссию или в Латвию. Было ясно, что на Россию итти далеко, а следовательно и рискованно.

— Если доберемся до Восточной Пруссии, то нас там, быть может, и арестуют, но мучить не будут, как у поляков, и к себе в Советскую страну мы тем или иным способом попадем, — говорил Петровский.

В том случае, если нас поймают недалеко от имения, из которого мы бежали, мы решили сказать, что вышли щепок набрать, заблудились в темноте и по ошибке пошли в другую сторону.

Если бы нас захватили вблизи немецкой границы, мы могли выдать себя за пленных, бежавших из Германии: идем, мол, на родину к себе, в Польшу, к месту своего постоянного жительства. Я заявлю, что постоянное мое местопребывание в Минске, Петровский из местечка Кайданово Минской губернии, Исаченко из Витебска, а Борисюк из Виленской губернии.

Мы быстро двигались по направлению на северо-восток.

— Скорей, скорей, товарищи! Утром нас хватятся и, конечно, организуют за нами свирепую погоню, — понукал нас Петровский.

Мы не нуждались в подхлестывании: слишком хорошо понимали, что угрожает нам, если нас поймают и отправят обратно в стрелковский лагерь к палачу Вагнеру.

Мы шагали, не чувствуя ни усталости, ни боли от ушибов, когда натыкались на пни в темноте. Наконец лес кончился. Мы очутились перед каким-то болотистым местом. Надо было сделать большой крюк, чтобы обойти неожиданное препятствие.

Решили итти вперед до рассвета, а там искать пристанища на день.

Из опыта первого побега мы уже знали, что наиболее надежным местом могла быть только скирда

соломы, но вряд ли зимой мы ее встретим на нашем пути.

К нашему счастью, мы вскоре наткнулись на покинутую в поле сторожку, полуприкрытую соломой. Рассчитана она была только на двоих и располагаться в ней можно было только лежа. Но выбирать нам не приходилось. Мы вползли в нее и, плотно прижавшись друг к другу, приготовились к отсиживанию, или, вернее, отлеживанию в продолжение целого дня. Предварительно нагребли снегу и образовали род заслона от непогоды и от других непредвиденных случайностей. Зима, только недавно установившаяся, отличалась непривычной мягкостью. На нас были остатки нашей одежды, валенки и тулупы, выданные во время пребывания в лесу.

Обстоятельства как будто складывались пока благоприятно.

День прошел благополучно. Мы отоспались, приободрились и повеселели.

— Я все готов терпеть, лишь бы подальше от Вагнера и Малиновского уйти, — сказал я, отвечая на собственные мысли.

Нам не терпелось, лихорадочно ждали наступления вечера, чтобы двинуться дальше.

На чистом небе показался серп молодого месяца. Сверкающие горошины звезд свесились на незримых ниточках над погруженной в белое безмолвие землей, укрытой пушистым снежным одеялом.

Оставляя глубокие следы, поминутно увязая в сугробах, мы тем не менее бодро двигаемся в западном направлении.

— Сейчас уже опасаться нечего, — весело говорил Петровский. — Если в течение дня поляки не настигли нас, то уже ночью, конечно, не найдут.

Запас продуктов был невелик — всегда одна буханка хлеба. Из вещей захватили с собой только

котелок. Итти было сравнительно легко. Мы ускоряли шаг по мере того, как приближался рассвет.

Думаю, что во вторую ночь мы прошли добрых два десятка верст.

Опять добрались до сторожки, как будто специально сооруженной чьей-то заботливой рукой для заблудившихся в поле путников.

Во время хождения мы согревались, но на привале нас донимал холод.

Это было бы еще полбеды, если бы не мучил голод. Хлеб мы съели в первый же день.

Пришлось подтянуть живот и постараться заснуть.

Спалось скверно.

Ночью поднялась сильная вьюга, ветер и снег безжалостно резали лицо, одежда не согревала тела.

Надо было как можно быстрее итти, но голод, обессиливая, замедлял движение.

Так как мы все время шли в обход дороги, боясь встреч, то мы вскоре перестали ориентироваться и двигались наугад, по вдохновению.

— Товарищи, больше не могу итти, — слабым голосом сказал Борисюк.

— Идем, идем, Борисюк, — пытались мы его все трое подбадривать, хотя каждый из нас чувствовал себя таким же слабым и голодным, как и Борисюк.

Бодрость наша стала исчезать.

«Неужели снова провал?» — думал я.

Вместе с Петровским подошли к дверям избы, по-видимому, принадлежащей зажиточному крестьянину. На окнах чистые занавески из белого полотна, рядом с избой хороший скотный двор и сарай. Похоже было на то, что здесь живут люди не только хорошего достатка, но и привыкшие к чистоте и порядку.

— Здесь, наверное, живет немец, — сказал Петровский и робко постучался в дверь: надо было проверить, спят ли хозяева.

Мы услышали, как кто-то приблизился к дверям и на немецком языке спокойно спросил:

— Кто там?

Если бы с нами был Борисюк, владевший немецким языком, ответ последовал бы на том же языке, на каком был задан вопрос. Но Борисюк немного отстал от нас, и на секунду мы замялись, пока Петровский на ломаном польском языке не попросил впустить нас обогреться.

— Мы сбились с дороги, замерзаем, изголодались, — дополнил я слова Петровского.

Дверь перед нами осторожно открылась.

Мужчина высокого роста пригласил нас войти.

Петровский, не колеблясь ни минуты, переступил через порог и вошел в сени, а я, обернувшись, позвал Исаченко и Борисюка, стоявших в нескольких шагах и напряженно следивших за тем, как развиваются события.

Они подбежали к дверям и последовали за нами.

Хозяин избы, так спокойно нас встретивший, все же был несколько смущен тем, что ночью к нему ворвалась целая группа людей, похожих на бродяг, может быть, задумавших ограбление.

Он оказался немцем.

Несколько слов Борисюка на немецком языке успокоили его.

Мы совсем осмелели.

Я даже хотел открыться хозяину, сказать, что все мы большевики. Однако Петровский нашел это рискованным. Тогда я направился по коридору к дверям, решив на всякий случай добровольно взять на себя исполнение обязанностей сторожа: стать, как говорили в царской армии, «на стреме».

Хозяин, поняв мое намерение, подошел ко мне вплотную и добродушно, но настойчиво заявил, что

он считает для себя большим оскорблением мое недоверие.

— Наш хозяин, товарищи, порядочный человек, и царскую власть он ненавидит всем сердцем. Можно совершенно спокойно располагаться, — сказал Борисюк.

Последние наши опасения улетучились. Мы подошли к большой широкой скамье, стоявшей у печки, и уселись на нее рядышком.

Хозяин куда-то вышел, но его исчезновение не внушало нам ни малейшего страха.

Через несколько минут он вернулся с кувшином молока в одной руке и с двумя огромными буханками хлеба в другой.

— Ешьте, сколько захотите, — предложил хозяин, — а я тем временем чай приготовлю.

Мы немножко отогрелись возле печки и, не ожидая повторного приглашения, подсели к столу и энергично принялись за уничтожение хлеба и молока. Едва успели справиться с этим, — времени для этого понадобилось немного, — как вновь появился немец и пригласил нас пройти из кухни в соседнюю комнату, чтобы напиться чаю.

Велика была наша радость, когда мы увидали стол, заставленный стаканами с чаем, белыми пирогами, банками с вареньем.

«Какое счастье! — подумал я. — Как давно не были мы в такой обстановке! Мы даже мечтать не смели о чаепитии за столом, покрытым скатертью!»

У стола сидела пожилая женщина, с состраданием на нас глядевшая.

— Это моя жена, — сказал хозяин.

Мы ей сердечно поклонились, и она, застенчиво улыбаясь, по-польски пригласила нас садиться.

Трудно передать наше наслаждение. Горячий чай

из самовара, с сахаром, вареньем, а главное, в приветливой, уютной обстановке!

В комнате было тепло, от самовара шел горячий пар, а рядом с нами сидело двое добрых людей, не только не враждебно, но, наоборот, дружелюбно настроенных по отношению к нам.

Хозяин рассказывал нам о глухом брожении, начавшемся среди польских крестьян, недовольных затянувшейся войной, все увеличивающимися налогами, реквизициями хлеба.

«Ого! — подумал я, — дело пойдет, должно пойти».

Беседа продолжалась.

Мы настолько обмякли, что перестали даже сознавать свое положение. Предстоявшие нам еще впереди трудности куда-то отодвинулись. Мы были в блаженном состоянии радостного покоя.

Допили чай. Хозяйка завернула остатки пирога и несколько больших кусков хлеба в бумагу и протянула этот сверток нам, а муж ее, вооружившись карандашом, начертал нам примерное направление, в котором нам следовало итти, чтобы попасть к границе. На дорогу снабдил нас двумя коробками спичек.

Выйдя из дома немца, мы долго еще были под впечатлением приема, который встретили у незнакомых людей.

Борисюк авторитетно разъяснил:

— Между немецкой и польской мелкой буржуазией существует здесь постоянная вражда, этим следует объяснить доброжелательное отношение немцев к нам.

— Когда власть перейдет к трудящимся, — заметил Петровский, — эта вражда исчезнет вместе с классом эксплоататоров.

«Здорово же ему насолили поляки!» — подумал я.

— Никогда буржуазия разных наций не придет к соглашению, — заметил Петровский. — Настанет

время, когда не только на одном поле, но и на одном участке будут работать вместе и поляки и немцы.

Шагая вперед, не заметили, как подошли к краю деревни.

Погода была скверная.

Нас это только радовало, ибо мы были уверены, что мало найдется охотников в холодную зимнюю ночь рыскать за пленными по дороге.

Сытые, мы успели пройти за эту ночь значительно большее расстояние, чем за прошедшую.

С рассветом вновь залегли «на отдых».

Исаченко улегся и сразу задремал.

— Ишь, его благородие спать горазд! — заметил Петровский.

— Видно, няня в детстве приучила по утрам спать. вот он и в ус не дует. Не иначе, как нервы у офицеров другие: в детстве горя не хлебнули, вот и спать горазды, — добавил Борисюк.

В шутке Петровского было добродушие, которого не понял Борисюк, много натерпевшийся от начальства и действительно узревший в Исаченко «благородие» со всеми присвоенными этому званию привилегиями.

Молчаливый Исаченко, оказывается, не спал.

— Ну и стерва ты, браток! — неожиданно огрызнулся он на Борисюка. — Ты, может, и сотой доли того не видал, что я, старый солдат, перетерпел, а туда же, критикуешь. Ты в военном суде судился? А в сумасшедшем доме сидел? Эх ты, трепло!

Назревала ссора.

Вмешался Петровский.

— Расскажи, дружок, про сумасшедший дом, авось, время скоротаем, а то спать неохота, а скука адская. Да и лучше так будет, а то, гляди, еще и подеремся.

Обычно уклонявшийся от разговоров, Исаченко

на этот раз непринужденно приступил к рассказу. Задел его Борисюк, видно, за живое, да и Петровскому трудно было отказать.

Исаченко, как я уже говорил, в царской армии достиг чина подпрапорщика, хотя пришел в нее рядовым из деревни. Поэтому звал его Петровский «благородием». Рассказывая, Исаченко обращался к Петровскому, совершенно игнорируя Борисюка, а заодно и меня.

— Вместе с вами хлебнул я горя в польском плену, — начал он. — Видел, как все вы духом падали, а я вот спокойнее вас всех все эти унижения и пытки переносил. А знаете почему? Потому что много горя в жизни видел. Месяца за три до германской войны, после того как прослужил уже два года в армии и получил чин взводного, ударил я по лицу фельдфебеля. Приставал он ко мне, подлец, за то, что я попа полкового не любил и к ручке не прикладывался. До того донимал меня, что я потерял голову и треснул его по морде.

Вы знаете, конечно, что по тому времени судить меня должен был военный суд, а потом ожидала тюрьма. На мое счастье, за меня вступился ротный командир, попавший в состав суда. Он сумел убедить суд, что меня надо отправить на испытание в психиатрическую лечебницу: уж больно вразрез с моей служебной исполнительностью шел мой поступок.

К великому моему удивлению, меня направили в лазарет. Я даже не понял смысла решения суда, настолько оно было для меня неожиданным. Ротный командир, очевидно, хотел спасти меня от сурового наказания.

Не забыть мне первой ночи в лазарете.

Какой-то парень с глазами злющими, как у голодной бродячей собаки, волоча ноги и наклонившись

всем туловищем вперед, приблизился ко мне. Он как-то страшно втягивал голову в плечи.

— Кто ты такой? — спросил он меня.

Я ответил уклончиво. Вдруг он, ни слова не говоря, ударил меня по лицу. Я бросился к санитару, умоляя его сказать врачу, что я здоров, что меня надо выпустить. Убедили санитара. Тот повел меня в комендантскую.

В комендантской дежурный врач отнесся к моей просьбе небрежно. Меня вернули обратно в палату.

Больной с жесткими глазами и седой копной волос быстро проходит мимо и обливает меня водой из кружки.

У «солиста» припадок кончился. Он встает и начинает плясать. На голове у него наподобие колпака торчит кепи, длинный халат подвязан веревочкой, а ноги обмотаны грязными тряпками. Вытягивает вперед острое, как у лисицы, лицо и поет, а что поет — понять нельзя. Кончает свой вой, подходит к мне, садится на пол.

Ко мне подходят новые больные. Они меня допрашивают. Допрос точно на следствии. Стараюсь спокойно отвечать.

Один спрашивает:

— Ты офицер?

— Откуда ты взял, что я офицер? — отвечал я.— Можешь проверить мои бумаги в комендантской.

Если бы сумасшедшие узнали, что я из «начальства», они бы со мной жестоко расправились.

Прошел длинный день. Мне казалось, что ему конца не будет. Снова наступила жуткая ночь. Днем хоть санитары не спят. Лежу на постели, не отрывая глаз от открытой настежь широкой двери. Жду нападения. Больные стали перешептываться, подходя один к другому, собираясь группами.

Быстро, нервно размахивают руками. Потом на-

брасываются на кого-нибудь. Жертва воет, отбивается, плачет.

Вопли, рыдания, крики...

Летят миски во все стороны, трещат табуретки...

Больные хрипят, глаза выпучены, брызжут слюной, рвут в клочья белье.

Истерики, припадок за припадком.

Вой нарастает...

Ругань и слезы. Слезы без конца...

Я чувствую, что начинаю сам сходить с ума. Мне хочется выть. Оставаться дальше с этими людьми — выше моих сил. Но я стараюсь овладеть собой. Присматриваюсь, изучаю их.

Страшно. Я не знаю, куда деваться. Весь дрожу.

Еще минута, и я брошусь на этих людей, вместе с ними буду плакать, выть, кусаться, ввяжусь в драку.

Прибегает, волоча халат, «солист» из соседней палаты и прячется под мою кровать.

Сейчас он на меня набросится...

Что делать?

Я кричу и, теряя сознание, падаю на пол.

. . . . . .

— Эх ты, трепло! — повернулся вдруг Исаченко к Борисюку. — Знаешь, я двадцать ночей таких провел. Глаз не сомкнул. Старик мне плевательницей голову расшиб. Страху натерпелся, седой весь стал. Признали меня потом здоровым и в тюрьму погнали. Оттуда лишь на фронт отпустили. Вот и посчитай: дома с двадцати лет не был, а мне уж больше тридцати, что я в жизни хорошего видел? Сумасшедший дом? Тюрьму?

Сконфуженный Борисюк зарылся головой в солому — лица не видать.

Петровский притягивает к себе взволнованного Исаченко и говорит:

— Ладно, брат, мы тебя в санаторию отправим,

когда домой придем, и бабу веселую дадим. Будешь пироги есть и Борисюка угощать.

Все смеются.

В нашем «жилище» воцаряется спокойствие. Мы дремлем.

С наступлением темноты выползаем на дорогу. Мы стая волков — голодных, тощих и злых. Дешево не дадимся никому в руки. У нас нет оружия, но мы, как голодные волки, зубами будем защищать свою свободу.

Холодно. В полях предательские сугробы. Занесешь ногу, проваливаешься по пояс. Опираясь друг на друга, трогаемся вперед.

— Эх, еще бы где-нибудь на таких добрых людей наткнуться! — мечтает вслух Борисюк.

Прошло несколько часов, в течение которых мы молча шагали, отдавшись каждый своим мыслям.

С мной случилась вскоре беда — зашиб ногу. Это сильно мешало мне передвигаться, и товарищам поневоле пришлось замедлить шаг, чтобы не потерять меня на дороге. Отрезали кусок брюк и обвязали мне ноги: получилось что-то вроде онуч.

Двинулись дальше.

Вскоре наткнулись на небольшую деревушку. Онучи мои развалились за один час ходьбы. Просили каши и валенки моих товарищей. Во всей остроте встал перед нами вопрос о необходимости достать обувь. Недолго думая, решили зайти в деревушку, сделать привал у крайней хаты и попытаться там же добыть сапоги или ботинки для всех. Наскоро выработали план: Петровский и я войдем в хату, потребуем у хозяев обувь, а Исаченко и Борисюк будут стоять настороже.

План был принят единогласно. Оставалось его осуществить.

Приблизились к хате, постучали в дверь. Услышали мужской голос:

— Кого пан буг дае?

Вместо ответа я начал нараспев читать молитву. (За время пребывания в плену я успел подучиться польскому языку, запомнил около сотни слов и очень недурно орудовал ими.).

— Слава ойца, сына, свентего духа.

— Аминь, — произнес голос за дверью.

— Нех пан отворже, — продолжал я.

Дверь перед нами настежь раскрылась, и старик, очевидно, хозяин хаты, пропустил нас вперед.

В коридоре было темно, и он не мог нас разглядеть, но в комнате, при свете огня, старик растерялся. Обросшие, грязные, мы могли насмерть испугать хоть кого.

Срывающимся и дрожащим от страха голосом он спросил:

— Докондо, панове, иде?

— Нех то пана не цекави, — ответил я грубо старику и сразу перешел на русский язык. — Сами не видите, что мы босые, в такой мороз по дороге ходить скверно, ноги замерзают. Вы должны дать нам немедленно обувь.

Старик упал на колени и плаксивым, умоляющим голосом заговорил:

— Панечко, бо нема!

— Врешь, старый хрыч! — крикнул на него Петровский и двинулся по хате, тщательно осматривая углы.

Через несколько минут внимательной «ревизии» комнаты он притащил две пары ботинок, бросил их на пол и сказал:

— Ты, Петька, примеряй их, а я тем временем постерегу этого старого поляка.

Я быстро примерил ботинки. Они оказались как раз впору.

— Готово, — произнес я.

— Вот и хорошо! — весело сказал Петровский и, обратившись к старику, резко крикнул:

— Ты, старый хрыч, неси-ка нам поскорее хлеба, а то тебе будет... — и он выразительно провел рукой по горлу.

Этот жест не нуждался в дополнительных пояснениях, но старик не двинулся с места. Должно быть, он настолько был ошеломлен случившимся, что потерял способность соображать.

Петровский махнул на него рукой, и мы стали торопливо шарить по шкафам, сундукам, не обращая никакого внимания на старика. Нашли хлеб, масло и забрали.

После этого обыска Петровский подошел вплотную к старику и, глядя на него в упор, заявил решительно:

— Мы идем из Германии, где пробыли четыре года в плену. Сейчас возвращаемся на родину. Через месяц пришлем тебе деньги за ботинки и хлеб.

Растерявшийся старик ничего не ответил.

Мы стремглав бросились из хаты.

Последующие ночи прошли без особых приключений. Продолжали шагать на запад. Как-то ночью увидели много огней.

— Город какой-то, ребята! — сказал Петровский.

— Да, может быть, это уже и Германия... — задумчиво произнес Исаченко.

— Нет, наверное, еще польская территория, — отозвался Борисюк.

Остановились. Надо было принимать решение, как двигаться дальше. Обращаться с расспросами к кому бы то ни было рискованно. Не знали, итти ли по направлению к городу, или выжидать. Расстояние

до города, как мы определили на-глаз, было незначительное, а между тем уже рассветало.

Не желая рисковать, решили расположиться на отдых.

В стороне заметили несколько занесенных снегом скирд. Это было настоящим чудом.

Установив очередь дежурства во время сна для всех товарищей, зарылис в насквозь промерзшую солому.

Первым взял на себя обязанности по нашей охране Петровский.

Через три часа он разбудил Борисюка, а сам улегся.

После Борисюка наступила моя очередь.

Я с трудом преодолевал дремоту. Вдруг услышал стук колес и голоса. Гулко застучало сердце.

«Неужели за соломой? — подумал я. — Нет, не может быть, вероятно, возле скирды проходит тракт, которого мы в темноте не разглядели».

Стук колес тем временем становился все явственнее — он приближался. Тогда я решил разбудить товарищей.

— За соломой! — испуганно проговорил Исаченко.

— Молчите, ребята! — прошептал Петровский. — Будем действовать так. Если мы еще в Польше, — а это мы выясним, когда услышим, на каком языке будут разговаривать приехавшие, — назовемся пленными, бежавшими из Германии: на родину, мол, в Польшу возвращаемся. Петька будет с ними разговаривать по-польски. Борисюк по-немецки. Если же услышим немецкую речь, стало быть, мы уже в Германии. В этом случае скажем, что мы русские пленные. Вот и весь сказ. Помните, что путать нельзя. Все остальное объявляйте по-старому, как условились раньше: ты, Петька, из Минска, Исаченко из Витебска, Борисюк из Виленской губернии, а я из Кайда-

нова. В Германии, мол, были в лагере Ляндсдорф, куда попали в шестнадцатом году после боя под Кенигсбергом.

— Янек, подъезжай тут, бо тутай слома взрушена, лепей бензе взесть, — услышали мы вслед за этим звонкий молодой голос.

— Все ясно, — сказал Петровский. — Надо вставать. Мы в Польше. Петька, не подгадь!

Я собрал все свое мужество и решительно поднялся наверх. Внизу у скирды увидел подростка лет семнадцати с вилами в руках. Очевидно, он намеревался укладывать на телегу солому, в которой мы укрывались.

— Пане, не бойтесь! — обратился я к нему по-польски. — Вы наверное, поляки?

— Так! — произнес подросток, вздрогнув.

Не успел я опомниться, как Петровский, спрыгнув со скирды, уже очутился возле подростка и с радостным лицом крепко тряс ему руку.

— Где мы находимся? — спрашивал он, глядя восторженно на поляка.

Тот молчал, не понимая Петровского.

Я стал рассказывать поляку историю нашего пребывания в немецком плену, всячески разукрашивая ее подробностями.

— Сейчас бежим на родину, — горячо пояснил я поляку, — так как узнали, что эти места заняты польскими войсками... А далеко ли нам еще итти до родной, желанной Польши? — задал я ему вопрос.

— Да вы уже в Польше. Немецкая граница в двенадцати километрах отсюда.

Стало быть, мы не дошли до границы, где нас ожидала свобода, всего каких-нибудь двенадцать километров. Вот так досада!

Делать нечего. Необходимо выпутаться из этой истории. Раз затеяли игру, надо ее продолжать.

Подросток кликнул своего старшего брата, находившегося в нескольких шагах от нас.

Я вынужден был и этому внушить доверие к нашим словам, повторив историю бегства из немецкого плена.

Я вдохновенно снова изложил эпопею издевательства над нами, «польскими пленными».

Материала для рассказов у меня ведь было достаточно — стоило только вспомнить наше житье-бытье в Стрелкове, отнеся все это за счет немцев, а не поляков.

Поляки слушали нас, затаив дыхание. Лица их горели ненавистью к немцам. Временами, особенно, когда я рассказывал о систематическом избиении польских пленных плетками из телефонной проволоки, у них срывались восклицания:

— Холеры, скурве сыне!

Мы стали успокаиваться. Очевидно, они нам поверили, ибо стали подробно и ласково отвечать на наши нетерпеливые вопросы.

Выяснилось, что город, находившийся на расстоянии получаса ходьбы от нас, назывался Иноврощлав. Расположен он в двенадцати километрах от границы с Германией. В городе, по словам братьев, в это время сосредоточивались польские силы, направлявшиеся на фронт для борьбы с немцами. Оба молодых поляка жили на хуторе, находившемся от скирды соломы, где мы были застигнуты, на расстоянии всего лишь полукилометра.

Янек пригласил нас всех к себе.

Положение создалось такое, что отказываться от гостеприимства поляков было нельзя. К тому же мы не видели для себя особенного риска в посещении домика братьев. Жилье их стояло уединенно, на новых людей мы вряд ли там могли наткнуться, а братья не внушали никаких опасений.

Они крепко поверили, что мы беглецы из немец-

кого плена, сочувствовали нам и были полны желания всячески нас утешить.

Мы помогли ребятам нагрузить телегу соломой и тронулись вместе с ними к хутору.

Подъехали к хате.

Стасик, так звали младшего брата, побежал вперед, чтобы сообщить матери о неожиданных гостях — пленных из Германии.

Через несколько минут подошла старая полька в чепце, участливо стала разглядывать нас. Мне пришлось и ей сообщить несколько подробностей о нашем житье-бытье в Ляндсдорфе. Она внимательно выслушала, покачала головой и любезно пригласила войти в хату.

Вскоре был готов обед. Мы сытно поели. За обедом каждый из нас сообщал какие-нибудь дополнительные подробности о немецких зверствах.

Так как днем итти дальше мы не рисковали, то решено было время до наступления темноты использовать для починки своей ветхой одежды. Старуха-полька, видимо, старалась оказать нам внимание: дала ниток, принесла какие-то тряпки для заплат.

Сытые, довольные, веселые, мы занялись ремонтом и не заметили, как пролетело несколько часов до конца дня.

Наступил вечер. Янек, Стасик и мать уговаривали нас остаться ночевать. Мы категорически отказывались. Они недоумевали: им непонятно было наше упорство. Собственно и нам очень хотелось поспать ночь под крышей, но мы опасались, чтобы кто-нибудь, забредя случайно в хату, не опознал в нас пленных, бежавших из польских лагерей.

Мы заявили, что горим желанием поскорей попасть на родину, но для исполнения этого заветного желания нам следовало явиться в город в полицию. Несколько километров, отделявших нас от Иноврoц-

лава, нам пройти будет нелегко, ибо у всех нас отморожены ноги.

Янек, посоветовавшись со Стасиком, предложил отвезти нас в Иновроцлав на подводе.

Это ставило нас в затруднительное положение. Под каким предлогом могли мы отказаться от услуги поляков? К счастью, старая полька, очевидно, пожалела своих сыновей больше, чем нас. Она нашла, что ее дети устали и нуждаются в отдыхе, а путешествие в город на подводе очень утомит их.

Янек и Стасик были молодыми крестьянскими парнями, еще не испытавшими тяжелой лапы польской военщины. Братья были простодушны, а главное — доверчивы, и это нас вывезло из беды. Ведь если бы они хоть на секунду усомнились в достоверности нашего сообщения, нам пришлось бы туго.

Осторожность требовала дальнейшего движения вперед, хотя каждого из нас так сладостно манила перспектива хотя бы ночьку, денек отдохнуть в теплой, приветливой избе.

Мы вышли наконец из гостеприимного жилья. Оставшись одни на дороге, поглядели друг на друга и радостно рассмеялись.

— А ведь как хорошо вышло, — сказал Исаченко. — Молодец ты, Петька!

— Да ты прямо золото, — смеясь, проговорил Петровский. — Разговаривал с ними как чистый поляк.

— Все это хорошо, но как мы пройдем эти двенадцать километров, которые отделяют нас от Германии? Хорошие денечки, остались позади, а сейчас надо обсудить, как проскочить этот город. Ведь там и полиция, и польские солдаты, а их-то надуть, как этих простодушных поляков-крестьян, не удастся.

— Ты прав, — согласился Петровский.

Следовало обсудить положение и выработать ряд мер на тот случай, если мы попадем в капкан.

После недолгого совещания решили пойти, забирая вправо от города, обойти его, а затем снова повернуть влево, где маячил лес.

— Если попадем в лес, нам легче будет в нем переходить границу, — сказал Борисюк.

На открытом месте переходить границу опасно. Это было для всех нас совершенно ясно. Нас могли перестрелять, как куропаток.

Двинулись в обход города. Это был последний и самый опасный участок нашего пути. Особенно боялись встречи с солдатами. Вдобавок мы знали, что Иновроцлав стал чем-то вроде военной базы поляков. где происходило формирование частей. Кроме того, в пограничном городе охрана была, вероятно, на надлежащей высоте.

Нас всех охватило радостное нетерпение. Ведь всего только двенадцать километров отделяли нас от Германии. Неужели на этом последнем участке нас ожидает провал?

Эти двенадцать километров хотелось пробежать поскорей, но осторожность требовала на этот раз медленного передвижения, иначе мы бы выдали себя с головой.

Первый крюк примерно в три километра, в обход Иновроцлава, прошел благополучно. Затем мы круто взяли влево, чтобы, перерезав шоссейную дорогу и пройдя около километра полем, попасть в лес, где могли бы спокойно продвигаться, не попадаясь никому на глаза и не вызывая ничьих подозрений.

Этот-то небольшой участок по шоссейной дороге и по открытому полю, когда мы показывались, как на ладони, был чрезвычайно опасен!

Как назло, ночь выдалась светлая.

Мы двигались осторожно, глядя зорко по сторонам.

Вот она, большая шоссейная дорога, ведущая, очевидно, к самой границе. С обеих сторон усажена деревьями. Двинулись вперед, держась в стороне от шоссе.

Не успели пройти и полкилометра, как позади нас раздался стук копыт.

— Верховой! — в испуге воскликнули мы.

— Товарищи! — резко оборвал Петровский. — Сохраняйте спокойствие. Идите, не ускоряя шага, как будто вас ничего не беспокоит. Верховой проедет мимо, не обратив на нас никакого внимания. Если же остановят и будут расспрашивать, откуда идем, Петька повторит историю о нашем бегстве из немецкого плена.

Мы решили беспрекословно подчиняться указаниям Петровского. В эту опасную минуту он словно принял командование над нами, взяв на себя ответственность за дальнейшее.

Верховой тем временем уже нагонял. В нескольких шагах от нас он задержал лошадь и поехал шагом. Несмотря на то, что мы решили не ускорять шага, чтобы не привлечь к себе внимания, какая-то сила, владевшая нами, заставляла двигаться все быстрее и быстрее. Верховому это, разумеется, не могло не показаться подозрительным. Он пришпорил лошадь и поскакал вперед.

У нас вырвался вздох облегчения, когда он, проехав мимо, галопом понесся дальше.

Стало быть, наши предположения ошибочны, это не погоня за нами.

Но долго радоваться не пришлось, ибо мы вскоре заметили, что верховой остановился возле какой-то не замеченной нами раньше будки. К нему подошли

два солдата, о чем-то переговорили и неподвижно замерли на шоссе, ожидая нашего приближения.

Было ясно — мы попались. В этом не могло быть никаких сомнений.

На ходу обсудили положение.

Решено было, что мы сделаем полякам заявление примерно такого порядка: только что, мол, перешли границу, убежали из Ляндсдорфа, где находились в плену у немцев. Направляемся на родину. Сейчас идем в Иноврощлав, чтобы заявить в полицию и просить ее направить нас по железной дороге на место постоянного жительства.

Однажды такое объяснение нас выручило. Полагая, что и на этот раз оно не вызовет у поляков никаких подозрений, а будет принято на веру и без возражений, мы ускорили шаги. Я и Петровский шли впереди.

— Стой! — раздался окрик одного из стоявших на дороге солдат.

— Пане, не кричите, — сказал я им по-польски — мы свои.

— Кто вы?

— Мы пленные из Германии, только сейчас перешли границу и идем в город, чтобы просить начальника полиции отправить нас на родину,—объяснил я.

Солдаты подошли вплотную и с удивлением начали нас рассматривать.

Верховой, который обогнал нас, оказался комендантом полиции Иноврощлава. Он предложил немедленно следовать за ним.

— Вы, небось, голодны, да и замерзнуть ведь можно на дороге, — сказал он с некоторой озабоченностью.

Обращение поляков с нами было более чем любезно.

Мы боялись провала только в самом городе, а пока дело обстояло не так уж плохо.

Сопровождаемые комендантом полиции, забрасывавшим нас в дороге вопросами о житье-бытье в плену у немцев, мы шли в город. Если нам удастся и там убедить поляков, что мы мученики, удравшие от немцев, тогда хорошо: нас накормят, оденут, обласкают, а там что-нибудь придумаем и при случае удерем.

Ну, а если выяснится, что мы беглецы из стрелковского лагеря... тогда...

Это «тогда» было настолько ясным и определенным, что не нуждалось в комментариях.

Вошли в город. Приятно поразили чистые улицы, электрическое освещение. Увидели хорошо одетых людей, удивленно на нас оглядывавшихся. Уж больно неказист был наш вид.

Подошли к огромному зданию, остановились у дверей.

— Идите за мной, — сказал комендант.

Поднялись на первый этаж, долго шли по коридорам и наконец очутились в громадной комнате, уставленной писменными столами. В комнате было тепло, и это особенно приятно чувствовать после того, как мы столько времени брели по дороге, не имея возможности никуда спастись от донимавшего нас холода.

Кафельная печка была основательно протоплена, и мы к ней «доверчиво» прижались. Комендант куда-то вышел, оставив нас одних.

— Ребята, не робей, — сказал Исаченко. — Видишь, какое нам доверие оказывают — никто не охраняет. Очевидно, парень нам поверил. Не забывайте, что от границы нас отделяет всего какой-нибудь десяток верст. Стало быть, уже отмахали порядочно от стрелковского лагеря. Не придет же ему в голову,

что мы сумели незамеченными пройти такое расстояние по Польше.

Петровский на этот раз был настроен мрачнее нас. Я был полон оптимизма, а Борисюк вообще не выражал своего мнения насчет положения, в котором мы очутились. Он просто наслаждался теплом. Борисюк был очень чувствителен к холоду и хуже всех переносил его.

Вскоре вернулся комендант. Через некоторое время нам принесли по большому куску хлеба с колбасой.

«Ого! Встреча хороша, значит, нас действительно приняли за поляков, бежавших из немецкого плена. Вот было бы чудесно, если бы все остальные поляки, с которыми нам придется еще в Иновроцлаве разговаривать, отнеслись к нам с таким доверием!» — думал я, с неописуемым наслаждением уплетая колбасу и вкусный хлеб.

Комендант продолжал с большим любопытством и видимым сочувствием разглядывать нас. Все шло, как по маслу. Даже наш аппетит был нам на-руку. Он был вполне естественен: ведь мы бежали из «немецкого» плена, где нас, по твердому убеждению поляков, держали впроголодь.

Через час он снова навестил нас и, добродушно похлопав каждого по плечу, сказал:

— Ну як, мои пленьцы?

— Ниц бордзо добже, пане коменданте, — ответил я.

— Так, так, — благодушно ухмыляясь, пробормотал он,—ну, а зараз треба вас записать. Ходзь до мне.

Первым подошел к коменданту, усевшемуся за высокой конторкой, я. Товарищи глазами показали, что я должен итти первым. Очевидно, мой голос звучал непринужденно и располагал к себе поляков.

— Ты ему слезу пусти, — успел шепнуть мне Петровский.

И я в самом деле с дрожью в голосе и с некоторой взволнованностью повторил, не жалея красок, историю жуткого немецкого плена, рассказал об ужасах, заставивших нас в конце концов, несмотря на весь риск, бежать на родину.

— А теперь, — закончил я свой рассказ коменданту, — немножко отдохнем, соберемся с силами и попросим снова отправить нас на фронт, чтобы иметь возможность драться с немцами и отомстить им за перенесенные унижения.

Комендант внимательно выслушал меня: раза три во время моего рассказа вскакивал, потрясая кулаками и посылая проклятия по адресу ни в чем неповинных немцев.

— Ну, добре, добре, — произнес он, немного успокоившись, и начал заполнять бланк допроса.

Спросил наши фамилии. Мы их соответственно изменили, прибавив к каждой окончание «ий», назвали ему вымышленные пункты нашего местожительства. Он все это добросовестно записал. Окончив допрос, вслух прочитал нам писанное.

В изложении коменданта дело представлялось так. Направляясь из какой-то деревни (название я забыл) по направлению к городу, он, комендант полиции, встретил четырех беглецов из немецкого плена, которые следовали в полицию (шло перечисление наших имен, фамилий и местожительства). Он, комендант, в результате допроса устанавливает действительность объяснений и просит коменданта города направить нас, снабдив соответствующими документами и продовольствием, на родину — в Минск, Вильно, Кайданово.

По мере того как комендант читал нам фантастические объяснения, мы в знак согласия с написанным

кивали головой. Закончив чтение, он позвонил, явился дежурный, которому он сказал:

— Этих четырех человек отправьте на ночлег в гражданскую тюрьму, а завтра надо будет попросить коменданта города отправить их через Варшаву на родину.

Он ласково кивнул нам головой и ушел, довольный собою в сознании честно выполненного по отношению к своим согражданам долга.

Мы переглянулись.

Во-первых, нам показалось не совсем понятным, почему нас отправляют в гражданскую тюрьму. Если нам поверили, — а это следовало из всего предыдущего, — то почему же нас не отпустили с тем, чтобы мы явились наутро сами к коменданту, а вместо этого направляют в кутузку?

Во-вторых, перспектива следования через Варшаву на родину означала не что иное, как возвращение вновь к палачам. Было совершенно естественно ожидать, что там-то очень скоро откроют наше инкогнито и поступят с нами, как надлежит. Обмануть поляков в Варшаве нам, повидимому, не удастся.

Рассуждать, однако, не приходилось — надо было итти на поводу у обстоятельств, которые складывались неизвестным для нас образом.

Конвоир пригласил нас следовать за собой и повел по освещенным улицам города в тюрьму. Шли мимо приветливо зазывавших покупателей магазинов, где в витринах красовались яства, от которых мы успели во время нашего голодного пребывания в Польше отвыкнуть. Наблюдали, как в кафе парочками входили поляки, рассаживались за столики, пили кофе, пиво, коньяк.

— Вот, черти проклятые! — ругался Петровский. — Ничего, мы вас скоро побеспокоим...

Настроение его значительно поднялось, особенно после того, как он отогрелся и поел.

В тюрьме мы разместились довольно комфортабельно. Нам выдали матрацы.

Мы разделись и, потягиваясь от удовольствия, легли. Не хотелось вовсе думать о том, что ждет нас впереди.

Петровский счел необходимым, через несколько минут после того, как мы «погрузились в негу», как он насмешливо выразился, вернуть нас к действительности. Пришли к единодушному решению отказаться от поездки в Варшаву (как будто это от нас зависело!) и проситься в госпиталь для лечения. Оснований для этого было более чем достаточно, ибо ноги и руки у нас были обморожены.

Мы решили, подлечившись, попытаться удрать из госпиталя в Германию, а оттуда пробраться в Советскую Россию.

Утром сделали вид, что не в состоянии двигаться. Притвориться больными нам, вообще говоря, было совсем не трудно. Ноги у всех четверых, после того как мы полежали в тепле, распухли, и мы действительно чувствовали себя достаточно скверно.

Бойсюк сделал несколько попыток встать, но не в состоянии был удержаться на ногах и падал; этот уже не должен был притворяться.

Когда за нами пришел солдат, чтобы отвести, согласно приказанию коменданта полиции, к коменданту города, мы заявили ему, что не в силах без посторонней помощи ходить, и просили отправить нас в госпиталь.

Солдат увидел, в каком состоянии наши ноги и руки, убедился, что мы действительно не можем ходить, и ушел за дополнительными инструкциями.

Мы стали гадать, что будет дальше: заставят ли

нас при помощи плеток подняться или поверят? Мы надеялись на последнее.

Так оно и вышло.

Через несколько часов, примерно около полудня, приходивший к нам поутру солдат появился снова и вывел нас из тюрьмы на улицу, где уже дожидалась подвода. Нас повезли в Иноврощлавский военный госпиталь.

С документами, полученными от коменданта полиции, в сопровождении солдата, мы прибыли туда на излечение. Каждый из нас чувствовал себя наполовину вырвавшимся из лап палачей.

Первые успехи окрылили нас, вселили бодрость, укрепили наше намерение во что бы то ни стало добраться до немецкой границы, а оттуда к себе, в родные края.

8. В Иноврощлавском госпитале

Это была не жизнь, а малина! Нас сразу же встретили приветливо и доверчиво. Мы имели измученный вид, а еще не зажившие после побоев в стрелковском лагере раны на теле достаточно ярко подверждали наши без конца повторяемые рассказы о мучениях и издевательствах над нами немцев.

В госпитале находилось незначительное количество польских солдат. Они реагировали на наши рассказы свирепой бранью по адресу немцев.

Бедные немцы из ляндсдорфского лагеря! Вот уж не снилось им, что они явятся притчей во языцех для больных в госпитале Иноврощлава.

Мы стали, что называется, именинниками. На нас был большой спрос. Сестры милосердия и врачи, ежедневно обходившие больных, подолгу останавливались у наших коек и вступали с нами в беседы.

Как-то раз нас посетило несколько упитанных

толстых господ с разодетыми женщинами, очевидно женами, которым мы, по просьбе врача, вновь повторили историю о Ляндсдорфе. Гости привели с собой детей и принесли пакеты с вкусными вещами. Уплетая их за обе щеки, мы изрядно потешались над доверчивостью глупых буржуев, которых нам удалось обернуть вокруг пальца. Мы отлично знали цену вниманию этих людей, которые, прослезившись, выслушали нашу скорбную повесть о хождении по мукам в «немецком плену».

Они ведь не зря отгородили свои лагери четырьмя рядами проволоки. Это их сыновья избивали нас «телефонными» плетками.

Польский мещанин боялся большевистской заразы и установил в своих лагерях для пленных из Советской страны жестокий режим, прелести которого мы испытали на своих спинах.

Окопавшись в Иноврощлаве и других городах, он мечтал о бешеной расправе с большевиками, трясся от страха перед польским рабочим и крестьянином, изнывавшими под тяжестью военщины.

Нас кормили как на убой. Через несколько дней после прибытия в госпиталь мы были помещены в отдельную палату, снабжены чистым бельем, пострижены, вымыты, словом, мы приняли человеческий вид.

Оставшись наедине, мы чувствовали себя как актеры после спектакля.

Да и как могло быть иначе, когда с небольшим запасом слов мне приходилось все время расписывать наши муки в немецком плену?

Единственной поддержкой в таких случаях бывал Борисюк, который залпом выбрасывал двадцать — тридцать немецких слов, когда замечал, что мой запас подходит к концу.

Все же надо сознаться, что я оказался недурным

лингвистом. Пребывание в польских городишках в период войны, когда приходилось сталкиваться с жителями в лагерях и на разработках в лесу, пошло мне на пользу. Моя речь могла казаться подозрительной лишь в том случае, если бы мы были взяты под подозрение, но это как будто не имело места, особенно в отношении меня и Борисюка.

Хуже было с Исаченко и совсем плохо с Петровским. Последний спустя несколько дней по прибытии в госпиталь захандрил; его угрюмый вид вызвал расспросы сестер и врача.

Борисюк по этому поводу сочинил трогательную историю о жене, которая, не дождавшись Петровского, бросилась в реку, об умерших детях-сиротах и т. д. После этого рассказа сестры стали сочувственно посматривать на парня с такой мужественной физиономией и такой трагической судьбой.

Но не одно незнание языка могло подвести нас. Опасным мог быть и момент выздоровления: нас опять могли передать в распоряжение тюремного начальства для отправления в Варшаву.

К счастью, соприкосновение с больными не было для нас столь опасным, как мы предполагали.

Госпиталь оказался незаполненным. Он был слишком далек от большевистского фронта, а на немецком столкновений не было.

Немногочисленные больные в большинстве были хроники, которые жили своей жизнью, не интересуясь нами, и дулись во-всю в карты.

Офицеров в госпитале не было.

Ужасы «немецких зверств», на которых базировалось наше нынешнее благополучие, мало волновали больных, большей частью крестьян.

Совершенно противоположную позицию занимали сестры и подсобный персонал госпиталя. Падкие на сплетни и небылицы, как и все жители маленького

городка, они в разговорах с нами черпали материалы, становившиеся потом предметом обсуждения иноврославского общества.

В пылу патриотизма они не обращали внимания на некоторые несуразности в наших рассказах и на изъяны в речи, которые при других обстоятельствах заставили бы их взять под подозрение наше происхождение и пребывание в плену у немцев.

Мы жили под дамокловым мечом, сознавая, что опасная комедия, которую мы играем, может окончиться трагедией.

Задача состояла в том, чтобы продержаться в госпитале до тех пор, пока не представится случай бежать. Рассчитывать на побег с пути в Варшаву было бы очень легкомысленно. Не хотелось вторично встречаться с паном комендантом, у которого мы должны были получить проездные документы.

Удобнее всего было бежать прямо из госпиталя. Поэтому мы стали принимать все меры к тому, чтобы здесь о нас создалось мнение как о тяжело больных. Добиться этого было не трудно, так как из последнего побега мы вышли изрядно потрепанными. Обмороженные ноги и руки распухли, а у Исаченко вдобавок появилась сильная экзема.

Врачи относились к нам по-своему внимательно. Их было двое. Главный врач, старый пропойца, от которого постоянно разило спиртом, собственно к лечению больных имел очень малое касательство, а ведал административной частью госпиталя. Но так как больных было немного и административные функции при небольшом хозяйстве госпиталя с успехом выполнял завхоз, то старик-доктор ограничивался тем, что по утрам проверял больных. Пощупает пульс, произнесет многозначительное «гм» и пройдет к следующему больному. Послушает, не вынимая трубки

изо рта, сердце через халат, а иногда и через одеяло, которым укрыт больной, и бросит сестре:

— Поставьте клизму.

Возле наших коек он задерживался, садился на стул и начинал расспрашивать, но не о самочувствии, а о пребывании у немцев. Каждый раз он задавал один и тот же вопрос:

— А правда ли, что немцы пиво пить перестали?

Доктору обыкновенно отвечал Борисюк, почти всегда на немецком языке, и доктору это нравилось.

Окончив свои расспросы, старик вставал со стула, приветливо кивал нам головой и отправлялся дальше, пыхтя трубкой.

Часов в одиннадцать утра делал обход хирург. Придет, похлопает Петровского по спине, посмотрит конечности, покажет сестре, как правильно наложить бинт, обругает ее «старой девой» — и был таков.

Мы не имели никаких оснований жаловаться на врачей, ибо они исполняли все точно, пунктуально, по часам. К тому же и в наши планы не входило слишком быстро выздоравливать.

За окном бушевала февральская непогода, далеко от нас отстояла линия фронтов, позади остались ужасы Калиша и Стрелкова, а мы в тепле, сытые, в абсолютном покое проводили свои дни.

Но скоро наскучили тишина, порядок и безделье; мы стали томиться. Петровский и я могли уже свободно передвигаться по палате. Исаченко и Борисюк тоже поправлялись. Нас неизбежно должны скоро выписать; по крайней мере, мне и Петровскому на это уже намекали врачи, хотя болезнь наша и не доставляла им хлопот.

Надо было подумать о том, как быть дальше.

После обсуждения всевозможных планов решили просить администрацию о предоставлении нам работы в госпитале. Мы рассчитывали заработать немного

денег, приобрести на них одежду, обувь, компас, карту и, выбрав удобный момент, удрать в Германию.

Приняв это решение, успокоились и стали выжидать, пока окончательно оправятся Борисюк и Исаченко. Тем временем все налегли на еду: надо было основательно подкрепиться и приготовиться к дальнейшим испытаниям.

Наконец настал день, когда решено было отправиться к завхозу Михальскому и просить у него какой-нибудь работы в госпитале. Предприятие это было довольно щекотливое, ибо при каждом удобном случае мы заявляли о горячем стремлении поскорей вернуться на родину.

И вдруг неожиданное обращение к Михальскому.

Мы полагали, что он будет удивлен, заподозрит нас в неискренности, а следовательно, и в правдивости наших сообщений о Ляндсдорфе.

Михальский был спокойный человек, исполнительный служака, помешанный на учете госпитального инвентаря. Занимал небольшую комнатку, где вел хозяйственные записи.

Комнатка примыкала к кладовой, в которой хранились белье, халаты и прочий инвентарь. Еженедельно все имущество пересчитывалось. После этого проверялись постельные принадлежности на койках больных. Затем производилась сверка установленной наличности с записями в книгах. И, наконец, составлялся акт проверки.

Время окончания писания акта обычно совпадало с началом новой проверки.

Михальский был всецело поглощен этой операцией.

Больные относились к нему благожелательно и сердились только в том случае, когда постельные принадлежности проверялись во время сна.

Но Михальский был неумолим. Он занимался не

только подсчетом, но и тщательным осмотром белья, постоянно высказывая подозрение, что кто-то из персонала подсунул рваную простыню и утащил казенную.

Это вызывало возмущение сестер и ставило на ноги всю палату.

Завхоз чувствовал себя в такие моменты на высоте положения.

Озабоченный очередной проверкой инвентаря, он не имел времени раздумывать над несуразностью нашего предложения и сразу согласился оставить нас на работе.

До этого мы должны были пройти через освидетельствование комиссии врачей, которая решала окончательно вопрос о выписке больных из госпиталя.

Врачи признали возможным выписать только меня и Петровского; что же касается Борисюка и Исаченко, то им предложено было остаться в госпитале еще на две недели.

И они, и мы этим обстоятельством были чрезвычайно огорчены.

Мы успели за эти несколько месяцев так сродниться друг с другом, что скорбь любого из членов нашей группы разделялась всеми, причем каждый старался по мере сил и возможности сделать все, чтобы облегчить положение товарища.

Естественно, что перспектива разрыва нашей четверки нас не радовала. Утешали себя только тем, что нам позволят изредка встречаться.

Отношение к нам начальства госпиталя продолжало оставаться неизменно благожелательным и доверчивым.

Несмотря на то, что нам назначили жалованье всего по пять марок в месяц, мы не унывали, хотя и учитывали, что заработанных денег на приобретение необходимой одежды и продуктов будет недостаточно.

Само собой разумеется, что день побега должен был отодвинуться до полного выздоровления Исаченко и Борисюка, которые теперь остались в палате вдвоем, так как новых больных к ним не вселяли.

Исаченко не тратил зря времени — он накинулся на книги. Борисюк учил его немецкому языку, и Исаченко оказался добросовестным и способным учеником. Борисюк приходил в восхищение от той легкости, с которой Исаченко усваивал его уроки. Как прилежный ученик, он сидел над тетрадками, тщательно выводя в них немецкие буквы.

Кроме того, наш «литератор», как мы его окрестили после яркого и красочного рассказа о сумасшедшем доме, получив бумагу и карандаш, занялся какими-то сочинениями.

Мы не раз просили ознакомить нас с его творчеством, но он категорически отклонял просьбы, ссылаясь на то, что работа еще не закончена.

Тем временем я начал выполнять свои новые обязанности помощника кладовщика.

Мой начальник пан Казимир Свентицкий, пожилой уравновешенный человек, отнесся ко мне безразлично. Он давно был осведомлен о наших злоключениях в германском плену и не считал нужным в часы работы расспрашивать о подробностях. Видя старательное отношение в службе, он постепенно стал проникаться ко мне доверием и даже отпускал одного за продуктами, которые мы обычно брали на базе, находившейся на окраине городка.

Кладовая помещалась во дворе госпиталя, в отдельном флигельке, крытом черепицей. В этом же домике, разгороженном на две половины, жил Свентицкий со своей семьей, состоявшей из жены, тихой богомольной женщины, старухи-матери и двух девочек, обучавшихся в иновроцлавской школе.

Мне часто приходилось бывать в тесной, но необы-

чайно опрятной квартире пана Казимира, в которой царил дух мещанской добропорядочности и семейного благополучия.

Угощая меня кофе со сливками и пончиками, обе женщины доверчиво слушали мои рассказы о немецких порядках и о преимуществах польской государственной системы перед всеми остальными. Они очень сочувственно относились к высказываемым мною взглядам на священное призвание семьи, на воспитание детей, которое, разумеется, должно проводиться в строгом соответствии с мудрыми начертаниями пастырей римско-католичесткой церкви.

Мне даже приходилось для порядка изобрести жену и ребенка, якобы мною покинутых без всяких средств к существованию. Живы ли они?

Когда я, грустно опустив глаза, слегка взволнованным голосом повествовал о добродетелях моей супруги, о горячей любви к ней, об отцовских чувствах, пани Агнеса и старая Ядвига утирали непрошенные слезы и принимались усиленно упрашивать выпить еще чашку кофейку.

Девочки в одинаковых передничках с жиденькими косичками, подперев кулачками свои веснущатые личики, трогательно переживали вместе со мной сочиняемые мною небылицы и плакали навзрыд.

Одно обстоятельство волновало нас: нам казалось странным поведение Михальского, не выполнившего приказа коменданта полиции об отправке нас через Варшаву на родину. В этом доброжелательном отношении мы готовы были усмотреть какое-то предательство: ведь пуганая ворона куста боится.

А разве мы не были такими пуганными воронами после перенесенных мытарств? Слишком часто наши оптимистические предположения вступали в конфликт с суровой действительностью.

Мы очень боялись встречи в городе с комендан-

том, и если все же изредка пускались с Петровским в рискованные путешествия, то исключительно с целью найти каким-нибудь счастливым путем единомышленника, который помог бы нам связаться с польскими товарищами.

Увы, это были напрасные мечты. Маленький городишко был населен торгашами, старыми пенсионерами и военщиной.

Предпринимать же основательные розыски нужных людей мы не могли, так как в любой момент рисковали попасть в руки полиции, которая вряд ли на этот раз так легко нас выпустит.

Кроме того, в городке все знали друг друга наперечет, и каждое появление на улицах рослой фигуры Петровского вызывало излишнее любопытство праздных обывателей.

Мы оставались такими же одинокими, отрезанными от друзей и единомышленников, как и в лагерях Калиша и Стрелкова.

Петровский утверждал, что впервые в жизни ему изменяет профессиональное чутье: обычно он в два-три дня в чужом городе находил близких и нужных людей.

Встречаем однажды, выходя на работу, Михальского.

— Что, хорошо вам живется? Теперь уже на родину не хочется, а то ведь все рвались.

Он, видимо, был вполне доволен ролью нашего благодетеля.

— Нет, не хочется, пан Михальский, — отвечаем мы,—потому и просили вас оставить нас здесь. К тому же ослабли, окрепнуть надо. Да и человек вы очень хороший.

Эта грубая лесть раздвигает губы в широкую улыбку. Он добродушно хлопает нас по плечу и говорит:

— Если хорошо будете работать, еще вам жалованья прибавлю... А едой довольны?

— Премного довольны, пан Михальский, — отвечаем мы.

Нам не приходилось делать над собой усилий, чтобы хорошо относиться к Михальскому, ибо он был, по существу, не плохим человеком. Он также не имел оснований скверно к нам относиться: мы добросовестно исполняли порученную нам работу.

Петровский, возвращаясь по вечерам с работы, рассказывал мне о своих впечатлениях за день.

— Чорт его знает, что за люди! — говорил он. — Ведь вот ежедневно сталкиваюсь с больными солдатами. Не похожи они на наших стрелковских палачей, так охотно выполнявших приказания польских офицеров. Люди как люди: рвутся к себе домой, к женам, к хозяйству, недовольны тем, что война затягивается, сомневаются в необходимости продолжения ее. Видно, что из-под палки пошли. Простые люди, не зараженные этим дурацким патриотизмом. Правда, и они плетут несуразицу о большевистской заразе, но так, без злобы, повторяя слышанное от офицеров. Ребята меня все жалеют; получая из дому подкрепления, делятся со мной. Продолжают считать меня мучеником, часто просят показать полосы, которые остались на теле — следы проволочных плеток. А того не знают, что это их братья так нас разукрасили.

В Иноврoцлаве тем временем накапливались военные силы. По улицам все чаще дефилировали пехотные, кавалерийские и артиллерийские части. Маленький городок, насчитывавший десять — пятнадцать тысяч жителей, зажил необычной для него жизнью.

Мы решили прекратить наши хождения в город.

С появлением в Иноврoцлаве польских офицеров сюда стали приезжать шляхтичи из окрестностей. Сестры нам рассказывали, что в городе часто устраи-

вались балы. Повидимому, поляки были упоены продолжавшимся, на основании Версальского договора, расширением территории польской республики.

Запомнилась одна тревожная ночь в госпитале. Почти под утро привезли раненого, который часа через три скончался.

То, что в наш госпиталь положили «штатского», уже само по себе говорило, что имел место незаурядный случай, а по слухам, проникшим в госпиталь, мы узнали, какая дикая история предшествовала этому случаю.

Погибший был музыкантом в маленьком ресторанчике, носившем громкое название «Варьетэ».

В отдаленном кабинете целую ночь пьянствовала компания офицеров во главе с полковником.

В городке разыскали пианиста, и тот почти всю ночь играл вперемежку польский гимн и любимые романсы господ офицеров.

Под утро охмелевший полковник потребовал от музыканта исполнения марша гусарского полка, командиром которого он состоял.

Музыкант не знал этого музыкального произведения и не мог выполнить требования полковника.

Полковник был человек военный и не терпел прекословий. Висел наган, но он предпочел схватиться за саблю, которую не замедлил вынуть из сверкающих ножен, и угрожающе потребовал исполнения любимого марша.

Испуганный музыкант клялся всем, чем только мог, что он не знает этого марша, что он его разучит специально для пана полковника. Побелевшие губы музыканта беззвучно шевелились, глаза молили о пощаде.

Полковник пил всю ночь. Утром он вспомнил про занятия на плацу с мишенью, он видел перед собой врага. Полковник был храбр, его офицеры сочув-

ственно улыбались, трясущийся музыкант был так забавен. Полковник с азартом молодецки ткнул саблей музыканта. Тот упал, и на сабле полковника, не потерявшей блеска за всю долгую войну, засверкали яркие рубиновые капли.

В кабинете сразу стихло. Маленький музыкант неожиданно стал великаном, он заполнил всю комнату. Полковник мгновенно протрезвел и дрожащими руками стал вытирать носовым платком лезвие шашки, долго не попадавшей в ножны.

Офицеры подняли музыканта и на первом попавшемся извозчике доставили в госпиталь.

Через час официант из ресторана успел рассказать в городе о происшествии, а через два часа у госпиталя толпился народ.

Как ни грозил Михальский, ему не удалось разогнать толпу.

На лесопильном заводе часть рабочих бросила работу и двинулась к госпиталю.

Михальский распорядился закрыть все входы и забаррикадировать их мебелью.

Население госпиталя, неведомым путем узнавшее о всех подробностях убийства, разделилось на два лагеря: солдат, возмущенных гнусным убийством, и офицеров, с опаской поглядывавших на окна. За окнами была недружелюбно настроенная толпа.

Несмотря на то, что городок буквально был забит военщиной, скрытая ненависть трудового населения к людям, которые высасывали все соки нации, прорвалась с неожиданной силой.

Находясь взаперти, мы ждали эксцессов. Однако через короткое время к госпиталю подошла комендантская команда, разогнала собравшихся и увезла мертвого музыканта.

В этот день, печальный даже для нас, видавших виды, мы почувствовали некоторое моральное удо-

влетворение, убедившись, что не все обстоит благополучно в пределах Речи Посполитой, где зажатый в цепкие тиски рабочий класс находит в себе мужество возвышать голос против чинимых насилий.

Это происшествие приоткрывало нам завесу, за которой скрывались живые силы польского трудового народа, загнанного в подполье. Это властно напоминало, что огромное большинство польского народа — наши друзья, и что у этого большинства один общий с нами враг — эксплоататоры.

Мы почувствовали себя менее одинокими, менее оторванными проклятым пленом от своего класса.

Тем временем мы продолжали подготовку к побегу.

Вскоре Исаченко и Борисюк вполне оправились и тоже были оставлены Михальским на работе в госпитале.

В знак своего расположения к нам Михальский распорядился выдать нам из госпитальных запасов платье и обувь.

Мы приобрели вид вполне добропорядочных людей, не вызывавших подозрения окружающих. Все эти обстоятельства облегчали выполнение задуманного плана побега. У нас накопилось уже достаточно денег, чтобы приобрести компас и карты, да еще оставить кое-что про запас.

Примерно в середине мая, собравшись как-то вечером после работы, мы решили окончательно установить план дальнейших действий.

Оставаться в госпитале дальше становилось не безопасным. Среди санитаров началось глухое брожение, вызванное тем, что мы избегали с ними сближаться, так как боялись натолкнуться на «земляков», — это было бы чревато последствиями. Санитары же находили, что мы брезгаем их обществом. И на этой почве можно было ожидать всевозможных сюрпризов.

Мы решили точно установить дату побега. И тут, к нашему удивлению, Борисюк смущенно заявил:

— А я, ребятки, с вами не пойду. Ну его к дьяволу, надоело мне мотаться. Кто его знает, как у вас дело кончится — попадетесь, и все пойдет прахом. Тут же в Иноврoцлаве вас и расстреляют, да еще предварительно поиздеваются и помучают за то, что вы столько народу за нос водили... Вы себе идите, а меня оставьте. Я здесь до конца войны в плену досижу, а конец, должно быть, не за горами. Может быть, и сейчас уже ведутся мирные переговоры с Советской Россией... Только, если попадетесь, меня не путайте, а я как-нибудь вывернусь. Не будет от вас долго вестей, скажу, что вы уехали в Варшаву, а не попрощались потому, что боялись задержки, и меня не посвятили в план, так как опасались, что выдам. Этим и вас поддержу и с себя подозрение сниму.

Надо сказать, что в Иноврoцлаве уже носились слухи о близком окончании войны в Советской России.

Мы имели возможность читать польские газеты и из них узнавали, что — «Советской России скоро будет конец, польские войска дойдут до Москвы, свергнут советскую власть» и так далее.

Кроме того, в газетах помещались победные реляции, донесения с польских фронтов. Там же приводились цифры захваченных в плен красноармейцев.

Уже последнего было достаточно, чтобы соответствующим образом оценить достоверность всех сообщений, печатавшихся в польской прессе.

Отчетливо сознавая, что польские газеты, опьяненные шовинистическим угаром, попросту лгут, мы все же страстно мечтали раздобыть родную советскую газету: так мучительно было находиться в неведении относительно истинного положения дел и товарищей.

сражавшихся за советскую власть, за страну рабочих и крестьян...

— Конец войны не за горами, говоришь ты? — спросил Борисюка пораженный Петровский. — Да ты откуда это знаешь?

— Это ему уборщица из нашего барака сказала, — смеясь, пояснил Исаченко. — Пока вы здесь на работе были, а я читал и занимался, Борисюк успел роман завязать. Каждый вечер с уборщицей шушукался, по ночам не спал. Я засыпал под их поцелуи, которые мне надоели хуже горькой редьки.

— Что, раздражало это тебя? — шутя, спросил я Исаченко.

— Да нет, просто влюбленные черти спать мешали. Отъелся парень, отоспался, руки-ноги в порядок привел, вот и стал на баб наскакивать. Посмотрите, какую рожу себе нагулял!

Все стало ясно, но Борисюк смущенно начал оправдываться. Ему, видимо, было неловко откалываться от нашей компании.

— Товарищи, не так оно все. Одиноко мне было, скучно, а полячка приятная такая, добрая, милая, усиленную порцию мне приносила, по голове гладила, жалела...

— Жалела! — передразнил его Петровский. — Ну тебя к чорту! На бабу нас променял, подлец! — разъярился он внезапно и стал наступать на Борисюка с крепко сжатыми кулаками.

Исаченко стал между ними.

— Что поделаешь, — пробовал я примирить товарищей. — Ему виднее... Да ты в самом деле влюблен? — переспросил я Борисюка. — Останешься здесь и как-нибудь провалишься, хуже тебе придется.

— Да нет же, товарищи, — уныло бормотал Борисюк, — пожениться она предлагает, уговаривает остаться. Родственница она Михальского, жалованье

мне скоро прибавят, а работа у меня легкая, на кухне повару помогаю.

Наши уговоры ни к чему не приводили, — Борисюк обрел свое счастье.

Человек, много натерпевшийся в плену, давно забывший свое происхождение, не оставивший ни начатой работы, ни товарищей, не знавший подъема революционных дней, обовшивевший за бесконечные годы немецкого и польского плена, — мог ли он желать для себя лучшей жизни, чем в Иноврoцлаве?

От компании Борисюка нам надо было отказаться, мы его как товарища теряли.

Стали строить наши планы втроем, без него.

9. Чудесная встреча

Однажды утром, когда мы копали землю в саду, нам пришлось пережить нечто вроде испуга: неожиданно показалось двое польских солдат с винтовками в руках, а вслед за ними двигался сопровождаемый санитаром плетущийся на костылях человек в больничном халате. Его-то, как и санитара, мы не сразу заметили.

«Все кончено» — промелькнуло в моем сознании. Мы выданы с головой. Это пришли, чтобы взять нас.

Сердце заколотилось с бешеной быстротой. Такое ощущение я испытал, когда двенадцатилетним парнишкой тонул в реке. Помню, что в первые секунды моего погружения в воду я переживал ощущение дикого страха, но одновременно родилось невероятное спокойствие; я точно фиксировал свои мысли, молниеносно пробегавшие в сознании; казалось, что один человек тонул, а другой с берега с блистательной точностью впитывал в себя все мельчайшие ощущения утопавшего, переживая их вместе с ним.

Такое примерно ощущение пережил я, когда увидел польских солдат, что-то внутри трепетало в диком страхе, но некое второе «я» во мне с холодным, зорким и четким любопытством фиксировало мельчайшие оттенки моих переживаний. Длилось это впрочем не более двух-трех секунд.

Заметив человека на костылях, я, конечно, понял, что солдаты охраняют больного.

Каким образом он очутился в нашей больнице?

Появление новичка казалось мне странным и уж во всяком случае настолько неожиданным, что выбивало из обычной колеи и требовало немедленных разъяснений.

Я постарался овладеть собой. Имею ли я право приблизиться к неизвестному? Как отнесутся к этому солдаты?

Больной присел на скамью неподалеку от нас. Я с самым невинным выражением спросил солдата:

— Что это за человек?

— Большевик, пся кревь, — ответил он скорее добродушно, чем злобно. — Поймали на германской границе.

— Почему же он на костылях?

— А это его отработали наши ребята; пришлось в больницу поместить.

Неизвестный стал внимательно рассматривать меня. В глзах его вдруг мелькнула лукавая усмешка. Мне стало не по себе. Впечатление было такое, словно он что-то о нас знает.

— Сколько времени находится этот человек в больнице? — спросил я санитара.

— Да уж давно.

Незнакомец оказался, стало быть, нашим товарищем из польской братской партии. Он находился в отдельной палате под охраной солдат.

Только этим можно было объяснить, что мы ничего не знали о его существовании.

Весьма возможно, что он-то был осведомлен о нас, пленных, попавших в госпиталь.

Умеет ли он говорить по-русски? — подумал я. И тотчас сам себе ответил: конечно, умеет.

Копаясь в земле (нас временно поставили на работу в саду), я постарался приблизиться к нему настолько, чтобы он мог уловить мотив революционной песни, которую я мурлыкал себе под нос. В этом эксперименте заключалось некоторая опасность. Если больной на костылях и солдаты, его охраняющие — участники предательской инсценировки, то я рискую выдать себя и тем самым поставить под угрозу смерти не себя лишь, но и товарищей.

Вдруг почувствовался мне легкий толчок в спину. Больной улыбнулся мне добродушной, печальной улыбкой. Итак, он — наш, сомнений уже не оставалось. На душе сразу стало легко, радостно. Нужно было немедленно посоветоваться с Петровским — нашим признанным вождем, вместе с ним разработать тактический план связи с товарищем.

Вечером через уборщицу, возлюбленную Борисюка, мы решились передать Невядомскому — так звали его — записку. Получили приглашение «потолковать» в саду во время прогулки.

Встреча состоялась на другой день. Петровский взял на себя задачу обработать солдат. Чтобы усыпить бдительность стражи, он злобно обрушился на больного, обвиняя его в том, что коммунисты мешают польским патриотам завоевывать себе то место в Европе, на какое они, как великая нация, имеют право претендовать.

Солдаты, однако, далеко не пришли в восторг от патриотических филиппик Петровского. Все же этот ловкий ход сыграл свою роль. Бдительность стра-

жей была теперь в значительной степени ослаблена. Вдобавок мы занимали какое-то служебное положение в госпитале и в представлении солдат были на линии «своих».

Невядомскому на вид было лет 30. Высокий, стройный с пристальными большими серыми глазами, он казался красивым, выхоленным баричем. По началу, нас всех это смутило, но его манера держать себя обличала в нем скромного и непритязательного товарища. Рыжекудрый силач невольно внушал к себе симпатию и доверие.

Между нами завязалась непринужденная беседа. Он сумел найти для нее удачную форму: он сам рассказывал, а мы слушали; тему выбрал он для начала нейтральную — его далекое прошлое. Мы понимали: то, что относится к настоящему дню и к дням, предшествовавшим нашей встрече будет сказано при случае в более подходящей обстановке.

— Варшава красивый город, Маршалковская улица, Лазенки, Бельведерская — прямо красота, проспекты, которых нет и в Европе, — восхищался столицей Польши Невядомский.

— Ну, а как живется в рабочих окраинах?

— Буды, Воля, Повонски, Чиста, Окота, — перечислял Невядомский. — Да, там не сладко. Посмотришь нищету рабочую и забудешь про проспект.

— Я варшавянин, детство свое хорошо запомнил, — начал медленно Невядомский.

— Рассказать, что ли? — с простодушной миной обратился он к солдатам.

— Чего же, рассказывай, — после недолгого колебания неопределенно пробормотал один из солдат.— Я сам из Варшавы, — если соврешь, поправлю!

— Стало быть, земляки, — улыбнулся Невядомский.

Все складывалось необычайно удачно. Петровский угостил «земляка» папироской.

Чтобы не вызывать подозрения, я старательно продолжал сажать грядки почти у самых ног Невядомского. Там грядкам было совсем не место, но ведь имел я право ошибаться. Петровский растянулся на траве. Им овладело лирическое настроение. Он буквально наслаждался встречей с поляком-коммунистом.

— Так вот, начал Невядомский, — помню я деревянный двухэтажный домик, в котором проживала моя семья и в нем маленькую комнатку, под самой крышей. Зимой там царил ужасный холод, а летом дьявольская жара. Рядом с нами — кирпичный завод, вокруг которого мелкие деревянные хибарки тонули в дождливые дни в глинистом болоте. В хибарках этих жили рабочие кожевенных заводов, каменщики, кирпичники, продавцы песку.

— В семье я был старшим. Мать варила обеды, стирала, летом уходила на свалку, где выбирала куски угля, а я заменял малышам родителей. Заорет один — ему пеленки меняю, другому надо есть давать. Помощи у соседа просить я не мог: мать нас предусмотрительно запирала на замок.

В воскресные дни собирались во дворе рабочие, делились впечатлениями о своих хозяевах, начальниках, мастерах фабрик и заводов. В каждом доме жило до 40 семейств, почти все работали на кожевенных заводах Темплер-Шведе и Прейферов. На работу ходили пешком, мимо католического и еврейского кладбища. Вставать приходилось в пять часов утра, чтобы в шесть уже выйти из дому. Рабочие обычно старались итти группами, — так легче отбиться от хулиганов, их в нашем районе было много. В предместьи ютилось большое количество воров, мошенников, вообще всякая шпана, терроризировав-

шая рабочих. Сплошь и рядом полицейский входил в контакт с бандитами. Виновников преступления отпускали, а тех, кто имел наивность выдавать преступников, очень скоро отправляли к праотцам. Бандиты поражали нас—малышей—организованностью, решительностью и умением отстаивать свои интересы.

Невядомский осторожно посмотрел на своих конвоиров и замолчал, как бы оценивая мысленно, принимается ли солдатами его рассказ. Неожиданно отозвался Петровский.

— Ладно, ладно, ты нас против хозяев не агитируй, сами разберемся. — И сердито добавил: — Чего тянешь, ведь тебе через тридцать минут с прогулки уходить, а начал издалека. Так, пожалуй, сегодня ничего путного и не расскажешь.

— На десятом году отец решил сделать из меня ученого, — продолжал Невядомский. — Вымыли меня в пруду, одели в костюм из чертовой кожи и повели в школу. Помещалась она в подвале, в одной комнате. Там было душно, тесно, маленькие окошки были забиты. «Что же это за школа,—подумал я:— чему здесь учат?» Школа, как оказалось, была нелегальная. Обучение происходило на польском языке, а царская власть, проводившая беспощадную руссификацию края, за это преследовала, закрывала школы, арестовывала учителей. Если сюда заглядывал неожиданно кто-нибудь посторонний, школа моментально превращалась в мастерскую, где дети занимались тем, что... пришивали пуговицы к картону.

Я начал учиться. Впервые ровно в два часа, уже утомленный домашней работой, поплелся я в школу. Учитель был пьян. За столом 20 мальчиков и девочек шили. Одновременно шел урок немецкого языка. Сдавала свой урок шестнадцатилетняя де-

вочка — дочь местного конокрада и собственника большого дома. Я услыхал новые для меня слова.

— Их бин ейн беккер, — произнесла девочка.

И вслед за тем неожиданно для учителя громко крикнула:

— Ду бист безофен, — что в переводе означает: «ты пьян».

— Кто пьян! — заорал учитель. — Ложись немедленно.

Несколько мальчишек с большой охотой схватили девочку, поволокли ее на скамейку, задрали ей, сгоравшей от стыда и страха, юбки, белье и с готовностью подали учителю розги. Взбешенный дерзостью девушки, учитель принялся ее сечь. Вскоре на нежном теле наказываемой появились багровые полосы. Однако учитель продолжал неистово стегать. Выступили капли крови. Переставшая рыдать девушка упала без чувств со скамьи на пол.

Мне стало страшно.

Вот она какая это школа!

Чем же отличается учитель от бандита?

Бандит подкалывает ножиком и убегает, а учитель, с разрешения родителей и начальства производит над детьми мучительную экзекуцию на глазах у всех. Я юркнул за двери и готовился уже незаметно ускользнуть. Мальчуганы меня заметили. Схватив за шиворот, выволокли на середину комнаты и поставили перед грозным учителем. Я горько заплакал, очутившись на страшной скамье, где только что так жестоко выпороли бедную девочку. С меня сняли портки; учитель на первый раз, снизойдя ко мне, как к новичку, влепил мне всего пять розог, сурово подчеркнув, что это только для начала, а когда привыкну, то выдержу и двадцать.

Взял я иголки и картон и начал учебу. Приши-

тые к картону пуговицы пересчитывались и нами же относились в магазин в Варшаве — для продажи.

Учился старательно, очень не хотелось быть вновь высеченным. Учитель казалось забыл про меня. Обучались в этой школе некоторые из ребят и русскому языку. Это были те, кто в дальнейшем отправлялись на учебу в казенную городскую школу. К этой группе принадлежал и я. В перерывах мальчики показывали мне русские буквы и первая буква, которую я запомнил, была буква «ж», первое слово, которое я научился произносить по-русски начиналось с этой же буквы. Это слово чаще всего употреблялось в нашей школе, особенно тогда, когда приходилось спускать штаны и ложиться на скамью. В течение первых двух недель я три раза ложился под розги. Оказалось, что я был счастливее других. Средняя норма для первых двух недель определялась цифрой 10. Когда я рискнул сообщить отцу, что меня в школе порют розгами, он безразличным и мало обнадеживающим тоном сказал, что «раз бьют, значит есть за что. Он, отец, за меня деньги платит, а я не хочу учиться. Спасибо учителю, что наставляет меня на путь истинный».

— Если, — добавил отец, — и дальше не исправишься, отдам тебя в учебу сапожнику.

Отец был неграмотным и мучился этим; его считали революционно-настроенным рабочим. В тот период часто появлялись прокламации. Получали их рабочие часто дома вечером, утром передавали друг другу. Отец не мог их сам одолеть и расчитывал на то, что я буду его грамотеем.

За каждую неправильно произнесенную русскую букву следовал в школе пинок в нос или ухо. Кричать я не решался.

Начал наконец чтение по слогам. Помню одну из суббот. Темный вечер. На дворе дождь, а я вместе

с отцом и матерью при свете маленькой лампочки при закрытых ставнях, и запертых на ключ дверях, потихоньку по слогам, мучаясь над неразборчивым шрифтом, читаем воззвание к рабочим:

«Царское правительство, ге-не-ра-лы, чи-нов-ники, сат-ра-пы издеваются над польским населением. Рабочие, организуйте боевые организации. Избивайте царских собак, глаз за глаз, зуб за зуб».

Чтение продолжалось мучительно долго. Два битых часа истратил я, чтобы одолеть одно из таких воззваний. Вспотели мы все от затраченных на это дело усилий. Мать заплакала неизвестно почему. Отец впервые за всю мою жизнь прижал меня к себе, неловко потянулся губами к моей щеке, очевидно хотел поцеловать, а потом раздумал. Только много позднее я понял, какой это был трогательный и радостный признак. Меня уложили спать, были ко мне в тот вечер родители необычайно внимательны. Слышал, как отец потихоньку спорил с матерью.

— Дура, — говорил он ей, — Рогальский, Сивек, Радомский и даже Скаврон имеют револьверы. Почему бы и мне не купить. Начнется скоро дело, пригодится.

Что начинается и для чего пригодится, почему отец хотел купить револьвер, — этого я не понимал. Потом открыл место, куда отец прятал воззвания. Изредка читал их.

Помню фабрику. От всех дурно пахнет. В самом помещении фабрики вонь невыносимая...

Солдаты, внимательно слушавшие рассказ Невядомского, стали весело смеяться. Это было добрым предзнаменованием. Срок, установленный Невядомскому для прогулок, кончался, а нам так хотелось продлить беседу. Мы посмотрели на солдат. Они,

казалось, расположились к Невядомскому, но быстро спохватились, увидев в саду Михальского.

Он озабоченно бежал к нашей группе — мы отодвинулись в сторону.

— Скорее ведите его обратно, следователь приехал.

Невядомский сразу стал сумрачным.

— Мучает меня этот следователь, — сказал он озабоченно, — говорит, что фамилия моя иная. Уверяет, что я из Германии явился сюда для пропаганды среди войска и что бежал в Германию из Варшавской тюрьмы. Надо мной издеваются, допрашивают, грозят повесить...

Мы сразу поняли, в чем дело. Этим самым Невядомский давал понять, что его избили в охранке, вводил нас в курс своих преступлений.

— Ну ладно, пойдем, — сказал один из солдат: — завтра докончишь. Больно складно рассказываешь. Не заметили мы, как и час прошел.

— Я уж договорю, не беспокойтесь, — многозначительно сказал на прощанье Невядомский.

Мы остались одни. Вечером Исаченко, Борисюк, я и Петровский сошлись за ужином. Поделился с ними своими сомнениями. Совершенно неожиданно для Петровского, уже успевшего отнестись к Невядомскому с доверием, я высказал предположение, что Невядомский может быть опытным, тонким шпиком польской охранки, специально приставленным, чтобы нас расшифровать...

— Радуйся, — раздраженно сказал Петровский, который больше всех нас дорожил иллюзией: — он еще нас может быть не расшифровал, а ты его, изволите ли видеть, уже раскрыл. Дурак ты, неужели по глазам этого человека, измученного, надорван-

ного не сумел узнать? Да и какой резон выкидывать охранке такие фортели. Были бы у них подозрения не затруднились бы они свои подозрения проверить и бросили бы нас в тюрьму надолго. Нет, брат, — добавил Петровский, — не с того конца подошел, с Невядомским надо связаться, может быть он нам новые возможности откроет. Мы ведь ничего не знаем о нашей стране, — в отчаянии крикнул он.

— А почему нам его с собой не прихватить! — буркнул Исаченко. — В самом деле, ведь это просто, а главное... заманчиво.

Мы на минуту задумались. Что же все таки сделать, чтобы переговорить с ним наедине? Исаченко предложил снова использовать добрые отношения Борисюка с полькой, передать записку, написанную измененным почерком и без подписей.

Петровский, однако, в этом случае проявил максимальную осторожность: предложил никого из администрации госпиталя в наши дела не вмешивать.

А вдруг донесут! Вот на этом-то мы засыпемся! — авторитетно пояснил Борисюк.

Целыми часами размышлял я о встрече с Невядомским. Не давала покоя мысль о том, что рядом взаперти находится родной нам товарищ и брат — один из тех, кто борется за раскрепощение рабочего класса Польши от капиталистического ига, один из тех, кто так же, как и мы, прошел через тюрьмы, допросы, избиения.

Мы ломали себе без конца головы над тем, как бы найти лазейку, чтобы перебросится без свидетелей хоть несколькими словами с товарищем. Выдумывали самые фантастические проекты.

Помог случай. Как-то ночью, на другой день после встречи с Невядомским в саду, столкнулся Петровский с ним в уборной.

Невядомский, как оказалось, симулировал свою болезнь в госпитале, жаловался на суставный ревматизм, якобы лишавший его возможности ходить. Он успел шепнуть Петровскому, что будет аккуратно выходить на прогулки в сад, куда просил и нас по возможности пробираться.

В этой короткой беседе Петровский, однако, не выдал себя до конца.

Но Невядомский не нуждался в подробностях, — и ни о чем не спрашивал.

Очевидно, успел себе составить о нас верное впечатление.

Жит нам стало в больнице легче. Как-никак мы были уже не одни.

Встреча с Невядомским состоялась в саду через два дня. Его вновь вывели на прогулку. Из двух конвоиров, сопровождавших его, на этот раз один оказался знакомым. Нам собственно хотелось вести разговор, пусть даже на эзоповском языке, на более близкие темы. Мы бы, конечно, друг друга великолепно поняли.

Новый конвоир производил впечатление человека грамотного и смышленого. Кто его знает, чем он дышит — это заставляло нас быть настороже. Второй — наш земляк — добродушный крестьянский парень, если не охотно, то во всяком случае без всякого увлечения выполнял при Невядомском обязанности стража. Шинель на этом конвоире сидела мешковато; в сапогах он буквально утопал, так велики они были; вся его фигура не давала впечатления той молодцеватости и выправки, которой так старались добиться от польских солдат-крестьян буржуазные панские офицеры.

Считаясь с тем, что один из конвоиров не был

проверен, мы отказались от мысли взять инициативу в свои руки.

— Так расскажи, брат, еще чего-нибудь! — сказал Петровский Невядомскому.

На этот раз был с нами в саду и Исаченко.

Невядомский в первый раз вел свой рассказ на польском языке, вставляя кое-где русские фразы. На этот раз он заговорил по-русски — конвоиры не протестовали.

Мы поняли его расчет — он, очевидно, хотел контрабандой на русском языке, в расчете, что конвоиры не все поймут, кое-что нам сообщить.

— Вернемся снова к тому, как я одолевал науку. Помощник учителя преподавал мне русский язык. Был он повежливей, но пинки щедро раздавал направо и налево. По норме мы должны были в течение урока пришить определенное количество пуговиц к картону. Таким образом, производство не отрывалось от науки. Какой это был для меня праздник, когда я научился читать сразу, не по слогам. Бывало вернешься домой, подождешь пока родители улягутся спать, садишься за стол и читаешь первое, что попадалось под руку.

Прошел год учебы, отец решил меня двинуть дальше. Как-то в один чудесный день взяла меня мать за руку и повела в Варшаву. Пришли мы, стало быть, с матерью в школу, на дверях которой я прочитал «Начальное городское училище». Вышел учитель, поговорил с матерью, та сунула ему что-то в руку и он проговорил, обращаясь ко мне, предлинную фразу на русском языке.

Я понял очень мало, а мать ничего. Она робко попросила его пояснить. Он резко оборвал ее: «Здесь русская школа и никому по-польски говорить не разрешается». Но потом снизошел и перевел свою фразу на польский язык. «Метрику пришли».

До 8 лет мне не хватало несколько месяцев. Я сам чуть-чуть помазал кисточкой 93-й год и переделал на 94-й. На следующий день отправился в школу. Ребятишек там оказалось около 40. Здесь запрещалось говорить по-польски даже в перерывах. Секли не розгами, штанишки спускали и пребольно били линейкой. Иногда для разнообразия поднимали за волосы на несколько сантиметров от полу.

В перерывах я попробовал заговаривать с рабочими часовой мастерской, помещавшейся в подвале под школой. Рабочие не понимали или не хотели понимать по-русски. Говорить об этом не решался никому, потому что поставили бы на колени. Учитель, поляк Мациевский, старался изо всех сил, чтобы среди его учеников был крепок дух российский. Ежедневно 3—4 мальчугана жалостливо выглядывали из-за большой доски, где они стояли на коленях за разговоры на польском языке. Бывало и так, что раздраженный упорством мальчиков, плохо владевших русским языком, учитель схватывал их за шиворот, укладывал себе на колени и беспощадно бил линейкой. Экзекуция кончалась только в том случае, если ломалась линейка или уставал цербер. Обида, злость, горечь — толкали мальчишек на еще большее упорство. Дежурные, которые записывали в перерывах говоривших по-польски, вечером избивались сами, так как тоже переходили на польскую речь.

Два раза в неделю происходили уроки закона божьего. Преподавателем этого предмета был ксендз Мешковский из костела на улице Лешно. Это был еще молодой человек с ярко выраженными наклонностями садиста. Ему, повидимому, нравилось мучить мальчишек.

Им старательно внушали: «Бойся бога, ксендза и учителя».

Нас заставляли каждое воскресение ходить в костел молиться. Однажды стоя в костеле, я наступил товарищу нечаянно на ногу. Тот стукнул меня по уху. На наше несчастье драку заметил ксендз. Он вытащил меня за шиворот из толпы, протащил через весь костел до алтаря и выбросил через окно в садик. Сначала стало страшно — что же теперь со мной сделает бог. Но, очевидно, богу было до меня очень мало дела. Птички продолжали петь, солнце светить, стоял безоблачный ясный день. Ничто кругом не говорило о гневе божьем. Я стал чувствовать себя совсем свободно. Вздумал тут же смастерить из кирпичного щебня западню для птиц. Увлекся своим занятием и не заметил, как передо мной очутился ксендз. Он меня заново отшлепал, связал веревкой кирпичи, взвалил мне все это на спину, поставил на колени и заявил:

— Перед образом господа бога ты всю правду мне скажи, а о разговоре моем с тобой никому, даже отцу с матерью, не рассказывай. Если скажешь — ослепнешь, оглохнешь и язык у тебя засохнет.

Я задрожал, мне стало страшно.

И тогда посыпались на меня вопросы:

— Кто твой отец?

— Чернорабочий на кожевенном заводе.

— Он, конечно, социалист?

От страха у меня совсем запрыгало сердце. Что такое социалист я понимал, знал что богатые их не любят, а у ксендза были золотые часы и лакированные ботинки, Стало быть, и он богатый, Социалистов сажают в тюрьму, их бьют, а полицией командуют генералы и приставы.

Чего от меня хочет ксендз? Социалисты читают прокламации, подписанные РСДРП или ППС.

Дрожь пробежала у меня по телу. Слезы застлали глаза.

Я разрыдался и упал на землю.

— Дурачок, — ласково сказал мне ксанда. Ведь я поляк, стало быть стою за рабочих, хочу им помочь, но хочу знать, сколько социалистов на заводе, хочу их всех объединить, не знаю только, где они живут. Если твой отец социалист, то я и ему помогу. Может быть ты знаешь товарищей отца, тоже социалистов. Расскажи мне.

Ласковый тон ксендза меня не обманул.

Сквозь слезы я упрямо прошептал: «Не знаю».

Удар жестокий, могущий свалить с ног быка, оглушил меня.

— Мерзость ты, зря тебя святая земля носит, — сказал ксендз, — говори, а то убью.

Я молчал и плакал.

— Где живешь?

— На Будах.

— Стало быть будовский бандит. Говори, а то засеку.

— Ничего не знаю, — упорно твердил я.

Ксендз махнул на меня рукой, очевидно, понял, что из меня ничего не вытянешь. Тогда стал расспрашивать, что говорят в школе о нем и про других учителей. Любят ли школьники русский язык, не попадает ли к нам подозрительная литература, листовки?

У меня развязался язык; сообщил охотно, что в перерывах мы все говорим по-польски, неохотно занимаемся русским языком. Ксендз просиял от удовольствия, и оставил меня в покое.

Я шел домой, размышляя над тем, что значит слово «Социалист». Примерный урок на эту тему я только что получил от ксендза.

Через три дня после этой истории сама жизнь преподнесла мне разъяснение слова «социалист».

Как-то ночью разбудили нас сильные толчки в дверь. Отец подошел к дверям и спросил: «Кто?»

— Телеграмма, — услышали мы в ответ.

Мои родители от роду ни от кого писем не получали. Отец открыл дверь. В комнату ворвались сразу несколько человек. В темноте нельзя было разобрать, кто эти люди.

Мать стала кричать: — Иезус, Мария, зажигай свет, что тут происходит?

Она решила, что к нам пожаловали бандиты для расправы.

Кто-то догадался зажечь спичку и я сразу увидел, кто были наши гости: полиция и солдаты.

Я юркнул ловко между ногами полицейских и выбежал в коридор, оттуда — во двор, весь заполненный полицией и солдатами. Отовсюду слышались тревожные крики и стоны. Вынырнул через двор в маленький флигелек, где жила семья хорошо известного среди рабочих боевика Рогальского. Толкнул слегка дверь — никто не ответил; тогда толкнул ее сильнее. Дело было ночью, а ведь в этом флигельке, где жил Рогальский, несколько дней тому назад умерла старуха. Мать мне внушала, что у покойной остались деньги, и она каждую ночь приходила к дверям, чтобы подкараулить свое добро, и при этом страшно скрежетала зубами. Как на зло, никто не откликался. Пот струился у меня с лица. Ноги дрожали. Казалось, вот-вот покойница схватит меня мертвыми руками. Открылась, наконец, дверь. На пороге стоял сам Стефан Рогальский — его называли «Стальным» (кличка среди рабочих). Стефан был молчаливым молодым парнем лет 18. Работал он на кожевенном заводе. Сразу сообразил в чем дело и втащил меня в комнату.

— У нас во дворе полиция и войска, — успел я сказать.

С быстротой молнии бросился он шарить по кроватям и ящикам. Стефан вытащил что-то из угла и начал быстро заворачивать в трубку. Сестра его стала одеваться, запихивая под юбку бумагу. Один старый Рогальский кричал и ругался.

Стефан сунул мне что-то тяжелое в руки и скомандовал:

— Неси в огород и спрячь, но так, чтобы не нашли!

Быстро вытолкнул меня в коридор, где я снова очутился в непроницаемой темени во власти жуткого страха.

Я еще раньше слышал о бомбах, в голове мелькнула мысль: а если они у меня в руках и я не удержу одну из них? Что будет, если она разорвется?

Думать долго не пришлось. В коридор ввалилась куча солдат, которые прикладами стали бить о пол и двери.

Я спрятался в угол и, затаив дыхание, ждал развития событий.

У Рогальского дверь упорно не открывалась. Чей-то голос из его комнаты по-польски произнес: «Кто там?»

— Полиция, — яростно произнесли в ответ. — Отоприте, сволочи!

Только после этого дверь, и то не сразу, открылась. Полицейские вместе с солдатами ввалились в комнату Рогальского. Я понесся к выходу во двор. Но и там оказались полицейские. Вернулся обратно под лестницу, сложил там свою тяжелую ношу и снова направился к выходу. Но уже через секунду сообразил: ведь мне поручено было снести сверток на огород и хорошо его запрятать. Вернулся за

ношей и побежал к двери. Авось полицейские не увидят, я ведь маленький.

— Ты что, братик, делаешь здесь? — спросил меня стоявший у выхода из коридора во двор солдат.

— Господин учитель, до ветру хочу.

Полицейский расхохотался. Ему понравилась фраза, заученная в школе. Повидимому и ему за нее не раз попадало.

— Иди к чорту! — последовал грубый ответ.

Как стрела, понесся я через двор к забору, перескочил через него на другую сторону.

Сколько здесь вкусных яблок, груш, вишен, крыжовника!

Но я знал, что в саду две злые собаки. О них я вспомнил, когда добрался до первого дерева, на которое и вскарабкался.

Через несколько секунд мне показалось, что кто-то движется по саду в белом длинном балахоне. В самом деле, вслед за мной на дерево начала карабкаться какая-то фигура. Волосы поднялись на моей голове дыбом. Я лезу все выше и выше. Дальше уже ползти нельзя, ветки тонкие, гнутся под моей тяжестью. Холод сжимает сердце, а кто-то в белом поднимается по дереву и кряхтит. Страх обуял меня, решаю прыгнуть с дерева.

В последний раз смотрю вниз и в это время слышу восклицание: «Хвороба!»

Радости моей не было границ. Так ругаться мог только Янек сын каменщика, работающий на постройке вместе с отцом. Ему не было еще семи лет, но он показал метрику, в которой ему было поставлено 13, и был допущен к работе. Пыхтел он всегда как самовар. Говорили, что у него астма. Хорошо иметь такую астму. Все мальчишки ему завидовали. Часто получал он от врача лепешки вкус-

ные, сладкие, с каким-то странным запахом. Янек был мальчик не из пугливых. Однажды ночью он один прошел через кладбище, не боялся заходить в темные сараи.

— Это ты, Владек? — сказал Янек. — А я думал, что наверху полицейский, хотел его спугнуть. Посмотри, что у меня.

Я спустился. Он показал мне громадный револьвер.

— Ты и держи свой револьвер! — с гордостью ответил я, — у меня в руках две бомбы.

— Врешь, хвороба, покажи, а то не поверю!

Уселись поудобнее. Начали разматывать тряпки и вдруг что-то тяжелое переваливается через мои пальцы и, ударяясь налету о ветви дерева, падает на землю.

Мы прижались сильнее друг к друг в тягостном ожидании взрыва.

Прошло несколько минут. Взрыва не последовало. Стали разматывать тряпки дальше. На руках у меня оказались 2—3 тяжелые коробки и револьверы. Стало быть ни одной бомбы, если не считать той, что упала вниз.

Янек спрыгнул с дерева, пошарил руками около ствола и нашел большую жестяную коробку. Попробовал ее открыть, ничего не получилось.

Я очутился вскоре возле него. Оказалось, что когда полицейский вошел в комнату к отцу Янека, он выскочил через окно на крышу, захватил спрятанный там отцом револьвер, спустился по водосточной трубе вниз и через забор махнул в сад. Полицейский за ним погнался, но Янека и след простыл.

Мы беззаботно занимались нашими новыми игрушками. Стало светать. Со двора донесся гул голосов и выкрики женщин. Мы были в одних рубашонках и почувствовали холод. Решили поесть

фруктов. Сорвали несколько груш, но они были тверды как камни. Янек объяснил мне, что их надо делать мягкими, ударяя о сук. С увлечением занялся этой работой. Вдруг грохнул выстрел. Кто-то перепрыгнул через забор и понесся по саду. За ним — два-три человека. Снова выстрелы.

Мы влезли на дерево. В сад ввалилась ватага полицейских.

— Прыгай! — приказал Янек.

В течение секунды мы очутились внизу и, прижимая к груди револьверы и коробки, бросились бежать. Полицейские заметили нас, послышались выстрелы и крики: «Стой, стрелять будем!»

Как зайцы, домчались мы до забора, перепрыгнули через него и с обрыва скатились к пруду. Там в высокой траве можно было спрятаться. Сидя по пупки в воде, прислушивались, не идет ли полиция. Испуганные лягушки снова начали свою музыку. Солнце поднималось. В наши животы стали впиваться пиявки. Янек не выдержал, мужество оставило его. Он стал плакать. Вылезли из тины, побежали по берегу и захохотали. Оба были вымазаны, в одних рубашках, нос у меня был в крови, у Янека оказались припухшими глаза. Почувствовал, что болят пятки.

Янек отправился в наш двор на разведку.

Между нами было условлено, что если его подстрелят, то я из мальчиков создам боевую организацию, вооружу их и буду мстить за смерть Янека.

Он явился вскоре одетым, принес мне штанишки и сообщил, что полиции нет, а матери ищут нас и обещают всыпать. Арестовали, как оказалось, многих рабочих. Стефана поймать не удалось. Револьверы Стефана мы спрятали в траву у пруда. Вскоре он явился, приказал нам достать револьверы, получил их и исчез.

Мы заслушались рассказов Невядомского. Тягостно было и на этот раз расставаться.

Конвоиры слушали его с таким же напряженным вниманием, как и мы.

Невядомский простился с нами на этот раз сердечно. Пожал Петровскому и мне руку. Конвоиры ему не мешали. Очевидно он расположил их к себе своей простотой.

Ведь оба они были крестьянами и почувствовали очевидно в нем не чуждого человека.

Когда Невядомского увели, Петровский стал философствовать.

Он говорил о том, что польский народ будет иметь свой Октябрь, так же как и мы. Таких как Невядомский в Польше сотни, тысячи, миллионы из рабочих и крестьян; они помнят панов, протянут нам руку и создадут у себя социалистическую республику, вместе с нами будут бороться за мировую революцию.

Глаза у Петровского разгорелись.

Мы и сами хорошо знали, что польским рабочим и крестьянам чужда мечта о великой Польше. Хотя им в мозги упорно старались богатые паны вбить мысль о захвате Украины, Белоруссии, Галиции. Рабочему и крестьянину прежде всего нужен был хлеб, мир, революция, борьба за освобожденный труд, за торжество пролетариата, а не Данциг, Вильна, польский коридор, Одесса, Харьков, Киев.

Невядомский напомнил всем нам о борьбе с капитализмом, которую братски вели до захвата Польши немцами польские рабочие плечом к плечу с русскими пролетариями.

— Ладно, — успокоил я Петровского, — пока Невядомский и ему подобные находятся в тюрьмах, — мы с тобой в плену. Задача заключается в том, чтобы выбраться из этого проклятого места;

Невядомский на свободе будет собирать еще сотни и тысячи борцов за дело революции.

В следующие две встречи — они были последними — Невядомский — или попросту Владек — рассказал нам о своей юности.

Первое боевое крещение он получил в одной из рабочих демонстраций в Варшаве. Было ему тогда 14 лет — крепко врезался в его памяти этот день.

— Мы направились, рассказывал он, — через площадь Кецелего, встретили кучу рабочих, шедших к Вольской заставе. Не доходя Огородовой улицы, рабочим преградила дорогу полиция. Мальчуганы бежали впереди, их пропустили, но рабочих начали разгонять. Мальчуганы попробовали вернуться обратно, они ухитрились проскользнуть между ног полицейских. Рабочие начали напирать на полицейских, свистя и ругаясь. Полетели камни. Раздались крики, сзади оказались казаки. И действительно от Огородовой улицы налетали казаки. Рабочие разделились на две группы — часть налегала на полицейских, пробираясь в сторону Вольской заставы, другая же часть повернулась к казакам, бросая в них вырванные из мостовой булыжники. Рабочие наконец прорвали кордон и пошли по Холодной улице в сторону пивоваренного завода Хабербуш и Нишле. Там сотни их шли не только по тротуарам, но и посредине улицы. Раздались выстрелы. Мальчуганы бежали посредине улицы, не зная куда деться. Меня подхватил под руку какой-то мужчина, и, увлекая за собой, вбежал в ворота дома на Холодной улице. Там оказалось уже несколько десятков мужчин, женщин и детей.

У завода Хабербуша и Нишле было убито 2 рабочих и несколько человек ранено.

Возвращаясь домой, я по дороге услышал о том, что завтра будет всеобщая забастовка и что всем

рабочим придется выйти на улицу, для того, чтобы протестовать против убийства и требовать сокращения рабочего дня и повышения заработной платы.

Мы шли мирно домой, но в это время неожиданно из-за угла вылетела кучка казаков, набросилась на нас и стала избивать. Одного из них мы сумели стащить с лошади, я вырвал у него саблю и ударил его по голове. Меня же другой казак рубанул в этот момент по плечу. Я не взвидел света от боли, меня подхватили под руки товарищи и поволокли на квартиру к одному из рабочих, где я и провалялся около шести недель, пока рана не зажила.

Встал я на ноги законченным революционером, отдавая себе ясно отчет в том, что дальше должен я делать для освобождения рабочего класса...

Петровский с опаской поглядел на солдат — конвоиров Владека. Тот усмехнулся, похлопал Петровского по плечу и сказал:

— Ты, друг, не беспокойся. С ними я нашел общий язык. Они ведь не больше чем крестьянские парни, обманутые капиталистами и помещиками, погнавшими их на войну для захвата чужих территорий и удушения Советской власти. Мы с ними ночами по-многу беседуем.

Парни ухмылялись.

Все было слишком просто, но это было так.

Много еще нам рассказывал Владек, а мы не решались предложить ему принять участие в задуманном нами бегстве.

— Мне, друзья, — сказал он как-то, словно угадывая наши мысли, — надо пробраться обратно в Варшаву. Я ведь пекарь — вся армия пекарей меня знает, верит, я, наконец, там один из работников большевистского подполья. Меня там арестовали в последний раз при неожиданных обстоятельствах.

— В союзе пекарей в начале 1918 года собрался кружок около 40 человек, на котором рассматривалось воззвание ППС. ППСовцы обиделись, что немцы, пообещав свободную независимую Польшу, подвели. Из так называемого Королевства Польского выделяли Холмскую губернию. Заслуги ППС за посылку тысяч молодых людей в немецкую армию немцами не были оценены.

Ведя революционную линию, мы на митингах всегда объясняли, что польские рабочие должны вести борьбу с милитаризмом как немецким, так и вновь рождающимся польским. Я открыл собрание и заявил товарищам, что мы должны помочь русским рабочим и крестьянам, которые покончили со своей буржуазией и взяли власть в свои руки; должны начать в Польше революционную борьбу, а движение, направленное против милитаризма, поддерживать. На сей раз польская социалистическая партия вместе с национальными группами, призывает ко всеобщей забастовке и к манифестации на Театральной площади против немецкого насилия. Мы пойдем тоже на Театральную площадь, но лозунги наши будут: «Долой немецкий милитаризм, да здравствует Советская Польша».

Уже почти к концу собрания, когда были распределены роли среди собравшихся пекарей, где и кто должен выступать на намеченных завтра собраниях, вдруг открылась дверь и два немецких шпика с револьверами в руках вошли в комнату, крича: «Не поднимайтесь с мест, руки вверх!»

Несколько человек быстро сорвались с места, схватили немцев за руки, повалили на землю, а все остальные устремились к выходу. В первую очередь надо было выпустить меня и представителя Варшавского Комитета. Я только в декабре 17-го года был выпущен из немецкой тюрьмы Хафельберг, а член

Варшавского Комитета был на подпольном положении. И мне и ему больше всего досталось бы, если бы немцы сумели нас задержать.

Очутившись на улице, я решил подождать. Немцы, перепуганные насилием, растерялись и почти все собравшиеся сумели уйти, за исключением Правления союза пекарей. Немцам объяснили, что случилось недоразумение. Происходило собрание Правления, все собравшиеся были уверены, что это — налет бандитов. Немцы отобрали паспорта у 7 человек и, успокоившись, заявили, что немецкая власть готовится к тому, чтобы задушить большевистское движение.

На следующий день на Вольской улице ППС созвало собрание, на котором должен был выступать один из вождей ППС — Иодко. Пекари, как всегда, явились на это собрание в значительном количестве. В зале кино «Экспресс» чувствовалось, что большевики имеют большинство. Как только началось собрание, рабочие с мест начали кричать: «Долой немецкий милитаризм, да здравствует Советская Россия, да здравствует Советская Польша!»

Иодко закричал с трибуны: «Русские шпики мешают нам вести деловое собрание, предлагаю митинг кончить!»

Тогда я пробрался к трибуне и сказал:

«Хотя ППС распускает собрание, но мы все-таки будем его вести, предлагаю никому не уходить, митинг продолжается!

Три четверти зала осталось, выбрали президиум и я заявил, что мы должны последовать примеру русских рабочих и крестьян, мобилизовав всех оставшихся рабочих Варшавы, объявить 18 февраля всеобщую забастовку. Все рабочие до одного должны выйти на улицу, чтобы протестовать против немецкого насилия, против войны с Советским Союзом.

Рабочие должны обратиться к немецким солдатам и разъяснить им, что борьба, которая ведется против Советского Союза — это борьба против тех же рабочих, их братьев.

В этот момент сильный отряд немецкой полиции с солдатами ворвался в зал и началось избиение.

С трибуны и среди рабочих раздались возгласы, обращенные к немецким солдатам:

— Бросьте оружие, выступайте против ваших офицеров — ваши жены и дети умирают с голоду в Германии. Единым фронтом выступайте против немецкой и всемирной буржуазии.

Солдаты, несмотря на крики офицеров и шуцманов, все-таки делали только вид, что бьют и толкают рабочих.

Выталкиваемые полицией и солдатами рабочие вышли на улицу. Один из рабочих быстро поднял вверх приготовленное красное знамя, и группа в 300 человек с пением «Красного Знамени» двинулась в сторону Холадной улицы. С противоположной стороны новый немецкий отряд, который был спрятан в воротах Вольской улицы, набросился на рабочих. Началась схватка. Немцы старались захватить красное знамя. Было арестовано около 50 человек, но знамя осталось в руках рабочих. В тот же день вечером в Союзе пекарей состоялось собрание актива. Явилось на него свыше 100 человек. От Варшавского комитета партии докладчиком был тов. Зоха, которая заявила, что на 17 февраля нами, большевиками королевства Польского и Литвы, объявлена всеобщая забастовка. Варшавский комитет надеется, что мы приложим все усилия, чтобы помочь ему в проведении всеобщей забастовки. Мы должны были выделить лучших товарищей, чтобы направить их на Варшавский трамвай, дезинфекционные заводы, водопровод, электростанцию.

Я заявил:

— От имени нашего актива могу заверить Центральный Комитет партии, что эту работу мы берем на себя и выполним ее: ни один рабочий завтра не станет на работу. Немцы приготовились, — у всех фабрик и заводов будут немецкие отряды, которые помогут штрейкбрехерам. Я лично со Стахом и несколькими товарищами беру на себя дезинфекционные заводы. Мураш должен взять водопровод. Матейко — электростанцию. Пуцель — трамвай.

Разбившись на группы, мы приялись обсуждать, как лучше всего провести работу и условились, что уже с 3-х часов утра каждая группа будет на месте.

В три часа утра я встретился со Стахом и еще пятью товарищами и направился на Окоповую улицу на дезинфекционные заводы. Около 5 часов мы заметили, что к заводу начинают подходить шпики группками в 5—6 человек. Мы устроили летучий митинг, на котором разъяснили рабочим, что забастовка, которая объявлена на сегодня, имеет исключительное политическое значение и что ни один рабочий не должен выйти на работу. В большинстве случаев рабочие возвращались домой. Шпики перебегали от одной группки к другой, прислушиваясь, но активно не действовали. Около 6 часов утра группа штрейкбрехеров человек в 30 направилась в сопровождении шпиков к воротам завода. Мы решили действовать. Собрали несколько десятков рабочих и вместе с ними двинулись против штрейкбрехеров. Началась схватка. Штрейкбрехеры очень быстро разбежались и хотя шпики угрожали стрельбой и уговаривали их остаться на месте, ничего не получилось. На завод не пошел ни один рабочий. Мы побежали на Вольскую улицу, в трамвайный парк, встретились там с группой товарищей с Пуце-

лем во главе, — ни один трамвай не вышел из парка. Сведения с водопровода и электростанции были также благоприятны. Рабочие солидарно бросили работу в ответ на воззвание СДКПиЛ, а несколько десятков штрейкбрехеров, которые пробовали явиться на работу, были разогнаны дежурными товарищами.

Я вернулся домой около 9 утра и решил немного отдохнуть, но не успел раздеться, как послышался стук в дверь. На вопрос: Кто? — последовал ответ: «Откройте — полиция». Под окном стояли немецкие солдаты, все пути для побега были отрезаны. Зная, что немцы не имеют еще большого опыта в проведении обысков, я решил испробовать счастье и спрятался в гардероб.

В комнату вошли три шпика, три солдата и двое польских полицейских.

— Сын дома? — спросили отца польские полицейские.

— Который? — спросил отец, ведь у меня их четыре.

— Ну ясно, Владек! — ответил полицейский.

— Нет, — ответил отец, — вчера вечером ушел и еще не вернулся.

Немцы постояли несколько секунд, пошептались между собой и вышли.

Я обрадовался, вылез из гардероба, решил скорее удрать, но в этот момет снова послышался стук в дверь.

Я снова спрятался в шкаф. Открылась дверь и снова та же компания ввалилась в комнату.

— Простите, пожалуйте, — говорит шпик, но мы должны провести обыск; если даже сына нет, то возможно окажутся кое-какие документы.

Положение мое было незавидно — стоять в шкафу и ждать, пока меня там найдут немцы.

Распахнулась в первую очередь дверь гардероба — пришлось вылезать. Я махнул рукой и начал одеваться. Юзек, брат мой, соскочил с кровати и с силой ударил польского полицейского в лицо. Тот пошатнулся, упал на пол. Немец растерялся. Другой польский полицейский выскочил за дверь.

Я схватил за руку Юзека и начал его успокаивать.

— Такими путями мы ничего не сделаем — надо вести борьбу организованно.

В сопровождении группы рабочих (около 50—60 чел.) немецкий патруль со мной медленно направился в сторону Вольской улицы. По дороге присоединялись все новые и новые группы рабочих; на углу Вольской и Млынарской под трамвайным парком группа рабочих — уже около 300 человек — набросилась на немцев и меня освободили.

Мы двинулись всего 600—700 человек с красным знаменем по Вольской улице в сторону Театральной площади. По дороге все время к нам присоединялись новые группы рабочих. Попытки немецких патрулей разогнать рабочих ни к чему не привели и в скором времени тысячная масса влилась на Театральную площадь, на которой уже находилось несколько тысяч демонстрантов. Выступали представители польской социалистической партии, большевиков, ППС, Левица, Бунда и др. групп. Во время выступлений ораторов немцы пытались разогнать манифестацию, но сопротивление рабочих было очень упорным. Они вырывали палки из рук шуцманов.

Наконец немцы получили подкрепление, двинулась их кавалерия и митинг был разогнан, меня арестовали.

Вечером погрузили всех арестованных на грузо-

вик и направили в Варшавскую цитадель. По дороге рабочие приветствовали нас, мы пели «Красное знамя» и «Интернационал».

В Варшавскую цитадель прибывали каждый день новые группы арестованных.

— Там я просидел довольно долго, — закончил Владек.

Мы ждали еще от Невядомского информации о последних месяцах. Мы страстно хотели подробностей о нашей родной Советской стране.

Владек сообщил нам, что христолюбивые польские воины в Галиции расстреливали, вешали, пытали, арестовывали, конфисковали, просто грабили, одним словом забавлялись, как в старое доброе время.

Мы узнали от Владека, что после нашего захвата в Вильно польские легионеры в течение четырех дней убивали местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам, что в Лиде 25 апреля они организовали погром.

Гордые, счастливые, узнали мы от Владека о победном движении конной армии Буденного.

Как бешено, как страстно хотелось нам скорее очутиться дома!

Через свое детство, революционную юность и зрелость провел нас в своих рассказах Владек. Мы узнали от поляка революционера, как яростно, сначала опираясь на немецких милитаристов, а потом на своих галлеровских офицеров, стремилась польская буржуазия удушить рабочий класс. И ей это давалось нелегко. Пусть власть сейчас в ее руках, но народ возьмет ее, вырвет из рук угнетателей.

О советской Польше мечтал вслух Владек, молча ему вторили конвоиры. Владеку без труда удалось их распропагандировать потому, что идея Советской Польши жила в мозгу этих батраков.

— Как дальше Владек, куда направят тебя отсюда, в какую тюрьму? — спросил Исачанко.

— Сегодня вечером думаю отсюда уйти!! — тихо прошептал Владек.

— Почему не с нами?! — хотелось мне закричать.

Этого не нужно было: Владек от Петровского в одну из случайных ночных встреч в уборной вскользь услышал о наших планах, но он сам не выразил желания присоединиться к нашей группе. Если бы его арестовали вместе с нами, разве нужны были бы после этого более веские доказательства нашего большевизма? Нас расстреляли бы как шпионов.

Кроме этого соображения имелось у Владека, надо думать, и другое — более веское. Ему, польскому большевику, хотелось остаться на работе в Польше.

Мы не видели больше этого смелого, спокойного, открытого товарища. Ночью, после дневной беседы с нами, Владек бежал вместе с одним из конвоиров, стороживших его комнату.

Мы были бесконечно рады удаче Владека.

Он не нашел нужным посвятить нас в подробности своего замысла, очевидно, продуманного им до конца. И это нас успокаивало. Теперь оставалось только и нам довести наше дело до успешного конца.

— Мы еще встретимся в Владеком! — бодро твердил Петровский.

Надо было торопиться. Слишком благополучно было наше пребывание в госпитале, — как бы нам за него не пришлось дорого расплачиваться. Один неверный шаг — и мы погибнем.

Карты, компас, ножи мы достали, деньги у нас также были. Осталось выбрать только удобный момент для побега.

Петровский советовал все дальнейшие беседы продолжать, соблюдая строгую конспирацию. Возникало опасение, что Борисюк, пустивший корни в Иновроцлаве, ходивший на поводу у приютившей его польки, мог как-нибудь невзначай, без злого умысла, проболтаться о наших планах.

Борисюк заметил нашу скрытность и чрезвычайно опечалился.

— Ты знаешь, — сказал ему как-то Исаченко, — мы решили от побега отказаться, остаться здесь. Ты правильно поступаешь, что остаешься...

— Брось ты мне врать-то! — оборвал его Борисюк. — Как вам не стыдно, неужели вы меня в самом деле подлецом считаете? Предателем я не был и не буду, а каждый ищет, где ему лучше.

Нам вскоре посчастливилось.

Иновроцлавский госпиталь праздновал двадцатипятилетие своего существования. Для всех служащих был организован пикник за город. Михальский предложил нам взять на себя заботу о больных. Кроме нас были оставлены старушка — сестра милосердия, пани Зося и старик фельдшер.

В семь часов, после обхода больных, они разошлись по домам.

Желанный момент наступил: нужно было немедленно уходить.

Оставалось только обмануть Борисюка. До последней минуты мы брали под сомнение надежность бывшего товарища.

Около девяти часов вечера, когда он ушел, как всегда, к своей даме сердца, мы быстро уложили свои вещи и вышли из госпиталя, в котором провели немало хороших дней.

На этот раз дорогу к границе указывал компас.

Уж он-то обмануть не мог.

10. Третий побег

Мы неторопливо пробираемся по улицам Иноврослава. На нас — выданная добрым Михальским полувоенная одежда, приличные кепи и добросовестно начищенные ботинки.

По узким тротуарам, окаймленным душистыми липами, фланирует местная избранная публика, наслаждающаяся благоуханным майским вечером.

На нас никто не обращает внимания. В городском саду играет военный оркестр. С ним перекликается струнный ансамбль единственного в городе ресторана «Варьетэ».

Из раскрытых окон, занавешенных кисейными и тюлевыми занавесками, доносятся меланхолические ноктюрны Шопена, хрипящие звуки граммофонов и громкие — вездесущих радиоустановок.

В толпе преобладают щеголеватые, подтянутые офицеры, чувствующие себя хозяевами положения. Они изощряются в остроумии и галантности. К ним томно прижимаются весело щебечущие женщины, одетые в нарядные летние платья. Запахи дешевых духов, пудры и приторного табачного дыма заглушают нестерпимо сладкий аромат черемухи и нарциссов, струящийся из прохладных садов и уютных палисадников, разбитых рядом с чистенькими домами.

Электричество заливает улицы ровным молочным светом, состязуясь с холодным сиянием луны, торжественно застывшей на прозрачно-синем небосводе в окружении почетного караула бестрепетно мигающих звезд.

Буйное цветение природы, воздух, напоенный неуловимой грустью, обычно рождающейся в такие благословенные вечера, настраивают нас на лирический лад.

Мы молча идем рядом, погруженные в свои мысли.

Каждый из нас в этот момент думает о самом сокровенном, родном, оставленном на далекой родине. Сегодня ночью мы собираемся в последний раз отвоевывать ее путем побега из пределов гостеприимной польской республики.

Пересекаем весь город и выходим на безлюдную окраину, утонувшую в густой кудреватой зелени садов.

— А хороша ночка, чорт побери! — раздраженно произносит Исаченко. — В такую соловьиную ночь не плохо бы посидеть с любимой женщиной, вспомнить ушедшую молодость, погрустить о ней или просто ни о чем не думать...

Его прерывает насмешливый голос Петровского:

— Насчет женщин сочувствую, что же касается молодости — не согласен, потому что стариком себя не считаю. А сантименты ваши, дорогой товарищ, бросьте. Ишь чего захотел — погрустить, ни о чем не думать! Рассиротились вы, молодой человек, некстати и не во-время.

И тут же экспромтом сочинил:

Когда умолкнет пушек гром
И засияет вольный труд.
Вертайтесь вы в желанный дом
К жене на преданную грудь.

Мы дружно расхохотались. Но больше всех оказался доволен сам автор:

— Уж больно хорошо у меня насчет груди получилось... Правда «грудь и труд» не совсем идеологически и поэтически выдержано, но зато в самую точку попал.

Исаченко дружелюбно замечает:

— У Пушкина я что-то не встречал такого слова «вертайтесь», но для начала, товарищ поэт, и это не плохо.

Продолжая в таких же шутливых тонах вести

нашу беседу, мы бодро шагаем по краю дороги, напоминая своим видом мирных туристов, которым взбрело в голову совершить ночную прогулку на далекое расстояние.

Кстати, расстояние, которое нам предстоит сделать, действительно удлинилось. По дошедшим до нас польским газетам, немцы отступили от Иновроцлава еще на шестьдесят километров. Следовательно, мы должны вместо прежних пятнадцати — двадцати километров, отделявших нас от границы, пройти семьдесят пять — восемьдесят.

Мы испытываем радостное ощущение настоящей свободы, на этот раз подкрепляемое твердой уверенностью в успехе задуманного предприятия.

Дышится легко и привольно. Окрепшие мускулы легко выбрасывают наши тела вперед. За спинами ощущается присутствие незримых крыльев. Мы летим, но полет наш направлен не в победоносные выси, а в грядущее, связанное с возвращением на советскую родину. Оно представляется величественным и прекрасным. Его мы почти физически осязаем; властная мечта приобретает материализованную оболочку. Дым желанного отечества перестает быть абстракцией; его мы воспринимаем не только органами обоняния, но каким-то народившимся шестым чувством, во власти которого мы сейчас находимся.

Над нами раскинулся звездный шатер. Осеняющая нас весенняя ночь в ее блистательном великолепии будоражит своими запахами и звуками. Земля дышит, как и мы, полной грудью. Всю дорогу нас не покидает состояние необычайной приподнятости.

Мы проходим мимо сонных озер с прибрежными ракитами, мимо деревушек с погашенными огнями.

Позади остаются телеграфные столбы, одинокие хутора, заброшенные сторожки и перелески.

Ночь на исходе. Располагаемся на отдых в поле и засыпаем крепким безмятежным сном.

Солнце держит свой путь на запад. Наши направления совпадают.

Теперь нас меньше пугают встречи с людьми. Мы заходим в дома, покупаем продукты и чувствуем себя «почти» полноправными гражданами этой страны.

Наши познания в польском языке довольно обширны.

На руках у нас заблаговременно заготовленные справки из госпиталя о том, что предъявители их являются польскими гражданами, находящимися на службе в качестве и так далее.

Наши кошельки свидетельствуют о достатке их обладателей.

Вторая ночь и третий день проходят без приключений.

В третью ночь мы подошли к реке. В поисках переправы решили пойти прямо по берегу. Через несколько минут наткнулись на небольшую баржу, рядом с которой покачивалась лодка.

— Ну, значит, все в порядке, — сказал Исаченко, пребывавший все время в прекрасном настроении. — Вот эта лодка, очевидно, кем-то для нас специально предназначена. Ею мы и воспользуемся.

Он с юношеской резвостью вскочил в лодку, которая неожиданно накренилась. Лязгнула цепь, надежно прикреплявшая лодку к барже.

Исаченко пригласил молчаливым жестом Петровского.

Тот обследовал положение и, немедленно перебравшись на баржу, отвязал цепь.

На шум вышел из каюты босой заспанный человек.

Петровскому не стоило труда справиться с ним, попытавшимся стать на пути к свободе.

Силы его за время отдыха в Иновроцлаве удеся-

терились. Он, как перышко, поднял человека на воздух и швырнул в воду, — на эту операцию понадобилось не больше тридцати секунд, — сам соскочил в лодку. Вслед за ним прыгнули туда и мы и усиленно налегли на весла.

Тем временем бедняга начал тонуть.

Решили ему помочь: ведь ни за что пострадает человек. Будет ненужной больше жертвой.

Подъехали к тонувшему, ухватили его за руку и, прежде чем посадить в лодку, вежливо предложили не кричать, в противном случае...

Он отлично понял, что последует «в противном случае», и покорно замолчал...

Предложив ему уцепиться за корму, мы поплыли к другому берегу реки.

— Садись, брат, в лодку и возвращайся обратно,— сказал я ему по-польски,—но язык держи за зубами.

— Иначе все выбью, — грозно добавил Петровский и поднес к лицу и без того перепуганного человека свой увесистый кулак.

Тот что-то пролепетал и стал садиться в лодку.

А мы, не оглядываясь, поплыли дальше.

В эту ночь решили особенно себя не утомлять и задолго до рассвета улеглись спать. Мы приближались к заветной цели и поэтому избегали встреч с людьми.

Как только стемнело, двинулись снова. Около полуночи приблизились к мосту, перекинутому через ручеек. Издали заметили неподвижный силуэт человека с винтовкой.

Стало быть, уже близка долгожданная граница.

Надвигалась гроза. Луна ныряла в облаках, подгоняемых сильным ветром. Под его напором деревья низко склоняли свои кудрявые головы. Ворчливо перешептывались листья. Прекратилась птичья возня. Гулко забарабанил дождь. Лес наполнился грохотом

и свистом. Раскаты грома сотрясали до основания столетние дубы. Синие зарницы молний вспарывали непроницаемую завесу мрака.

А внизу у подножья осин и берез было поособому тихо и сухо.

Разостлав под себя мешки и накрывши головы своими френчами, мы занялись изучением карты. По всей вероятности, граница оставалась позади. Значит, мы в пределах Германии.

Мрачные тени Калиша и Стрелкова больше не воскреснут никогда. Впереди возможны заключение, бесчисленные опросы, но издевательств больше не будет. В Берлине и в других крупных городах имеются наши представители, которые помогут нам вернуться домой.

Прождали до рассвета. К утру вышли на линию железной дороги. На столбах были немецкие надписи. Солнце ярко сияло над землей, жадно впитывавшей его щедрые ласки. Ровное, как стрела, шоссе, обсаженное фруктовыми деревьями, вело по направлению к неизвестному городу... Острые шпили крыш маячили на горизонте.

Откуда-то со стороны выехала телега, на которой сидел чисто одетый крестьянин с трубкой в плотно сомкнутых губах.

Исаченко, приподняв кепи и извинившись за беспокойство, спросил, как называется виднеющийся вдали город.

— Шнайдемюлле, — ответил нам вежливо фермер.

Мы тепло поблагодарили первого живого вестника нашего освобождения от ужасов польского плена. На минуту стало грустно, что нашу радость не могут разделить Шалимов, Грознов и Сорокин.

— Мы еще встретимся, — произношу я вслух, встряхиваясь от печальных мыслей.

— С Малиновским и Вагнером у меня нет ни-

какого желания встретиться еще раз без оружия, — весело произносит Петровский и фальшиво запевает на мотив польской патриотической песни, безжалостно коверкая слова текста или заменяя их другими:

Пока Польша не сгинела
Вместе с Вагнером и Водой,
Будем мы бороться смело,
Жизнь отдавши за свободу.

Затем, перейдя неожиданно на мотив немецкого монархического гимна, продолжал:

Дейчланд, Дейчланд — юбер аллес,
Пролетарий вельт фор аллес.
С Малиновским мы расстались
И в Германию пробрались.
А в советской фатерлянд
Путь укажет немец Кант.

— Кант, вероятно, приходится тебе далеким родственником.

— Ха-ха-ха! — заржал Исаченко. — Молодчага Петровский! Нет, ты подумай, — обращается он ко мне, — какие у него в Германии влиятельные связи! Старый Кант, ну, тот самый, который чистый разум раскритиковал, и вдруг будет неразумно связываться с большевиками, да еще вдобавок бежавшими из Польши... В советский фатерлянд, — закончил он торжественно, — путь мы найдем сами. А в этом — нам помогут люди, исповедующие одинаковые с нами убеждения.

В эти торжественные минуты мы чувствуем себя великими завоевателями, открывшими неизвестную землю.

Мы чувствуем твердую почву под ногами, тревога растаяла, как дым.

Скоро и мы будем в Советской стране...

Желанная свобода...

Мы только пленные красноармейцы, которых революция зарядила энтузиазмом и жаждой борьбы, но в эти незабываемые часы мы способны создать вдохновенную поэму, каждая строчка которой будет гимном свободному человеку...

Мальчик с седой головой, Исаченко не может сохранить спокойствие. Он то сходит с дороги и смотрит на шахматную гладь полей, то бежит по ровному шоссе, то пятится спиной к городу, вслух мечтая о том, что в новой, демократической Германии, победившей Вильгельма, мы будем уже не отребьями человечества, а гражданами...

— В отребьях... — иронически добавлял Петровский.

Мы недоуменно глядим на него.

— Демократия проявила себя уже в четырнадцатом году. Немецкие социалисты тогда молились за дарование победы Вильгельму. У Исаченко старые следы от побоев в лагерях. Не из радушия, а из желания скорее сплавить нас демократическая Германия, возможно, отправит нас в Советскую Россию. Мы ушли из плена, но мы еще не дома. Помните, что в Германии коммунист считается не меньшим злом, чем польский легионер.

Мы чувствуем жестокую правду в словах Петровского, и все же нам кажется, что достаточно только приподнять завесу над тем, что делалось в стрелковском лагере, чтобы сочувствие немцев было нам обеспечено.

11. Германская тюрьма

Мы в городе. Направляемся в полицию. Собираемся просить о том, чтобы нас по возможности направили в Берлин в распоряжение нашего консульства.

Эти два слова — «наше консульство» — мы смаковали с каким-то особенным наслаждением.

По дороге решили забежать в какой-нибудь ресторан. В кошельках еще остались польские марки, заработанные в иноврощлавском госпитале. Сейчас они нам больше не нужны.

Непринужденно расположились за столом, заказали как свободные граждане кучу блюд, наелись доотвала, выпили пива. После этого зашли в парикмахерскую, с наслаждением вытянулись в креслах.

Благоухающие, гладко выбритые, мы шли в канцелярию местного полицейского управления и осведомились, как пройти в кабинет начальника. Нас тотчас же проводили к дежурному чину.

Могли ли мы себе представить, что дверь, закрывшаяся за нами, когда мы вошли к дежурному, откроется лишь для того, чтобы пропустить нас, шествующих в сопровождении конвоиров, в тюрьму.

— Зачем вам обязательно нужен именно начальник полиции? — пытливо всматриваясь в нас, спросил дежурный. — Может быть, вы согласитесь посвятить меня в суть вашего дела?

Разговор шел на польском языке.

Я выступил вперед и заявил:

— Нам от вас ничего не нужно. Мы хотели бы только просить вас о скорейшей отправке на родину.

— Да кто же вы такие и как сюда пожаловали?

— Мы...

Я замялся, словно кто-то подсказал мне, что не следует пускаться в откровенные объяснения, но какая-то сила уже несла меня вперед.

— Коммунисты мы. Бежали из польского плена. Прошли пешком сотни верст, — сказал я, решив, что лучше не затемнять дела, тогда скорей отправят нас домой.

Дежурный выслушал достаточно холодно. Затем неожиданно громко засмеялся.

Что бы это могло значить? Что смешного в наших объяснениях?

Все трое настороженно ждем.

Взяв трубку, дежурный звонит по телефону и с кем-то разговаривает. Содержание беседы до нас доходит плохо. Дежурный вызывает переводчика и приступает к составлению протокола. Улыбка не сходит с его лица.

С чисто немецкой педантичностью нам задают бесконечное количество вопросов.

Допрос закончен. Дежурный нажимает кнопку. Появляется стража, и нас куда-то ведут.

Это было неприятно. Все же мы уверены, что немцы ничего худого нам не сделают и что, вероятно, таков порядок выяснения вопросов, связанных с появлением перебежчиков из Польши.

Пройдя несколько десятков шагов, мы очутились перед трехэтажным длинным зданием. Нас вежливо пригласили войти. Не удивились мы и этому. Полагали, что направляемся в канцелярию, ведающую делами военнопленных.

Дом был выкрашен в белый цвет и имел очень приветливый вид.

Мы вошли внутрь, прошли по длинному коридору и, повернув налево, оказались в огромной комнате, уставленной множеством столов, за которыми восседали люди в штатском платье.

— Куда это мы пришли? — спросил я.

— Тюремный архив, — ответил немец.

«Тюремный архив! При чем же мы здесь? Что может быть общего у нас с германским тюремным архивом?»

Взглянув в окно, увидел высокую каменную стену и в ней большие железные ворота, у которых стоял часовой.

В канцелярии задержались мы недолго; нас вы-

вели во двор и повели к воротам, которые я заметил из окна канцелярии.

Зазвонил колокол, возвещавший о прибытии новых заключенных.

Мы очутились на чисто подметенном огромном дворе и, сделав несколько шагов, вошли в двери четырехэтажного каменного здания с окнами, обнесенным решеткой.

Стало совершенно ясно, что нас привели в шлиссельдемюлльскую тюрьму.

Вот так братская встреча!

Иллюзиям пришел конец.

В канцелярии коменданта нас снова подвергли допросу, после чего отвели в камеру.

Подавленные случившимся, мы опустились на нары и не решались заговорить. После нервного подъема и лихорадочного оживления наступила реакция.

В камере кроме нас есть еще несколько заключенных. Знакомимся с ними. Расспрашиваем о жизни в Германии. Однако наши новые товарищи держатся настороже.

Их отношение резко меняется, как только они узнают, что мы большевики.

Они видят в нас «своих», ибо твердо убеждены, что мы из разбойничьей страны, где давным-давно упразднена частная собственность, где каждый может брать все, что понравится из вещей соседа.

Выясняется, что мы попали в компанию уголовных. Их в нашей камере десять человек; часть обвиняется в шпионаже.

Мы объяснили, что подвиги, за которые они сидят, беспощадно караются в Советской России.

Это был непростительный промах с нашей стороны, в чем мы вскоре убедились.

В камере довольно чисто.

В первый же день нам дали кофе из ячменя, картофельный суп; вечером снова принесли кофе.

. . . . . .

Тюрьма затихает, чтобы снова жизнь началась поутру, но завтра будет таким же, как вчера, послезавтра таким же, как завтра...

И неизвестно, сколько дней нам предстоит провести здесь. Отсюда не убежать, это не госпиталь в Иновроцлаве...

Утром команда:

— Поднять койки!

С этого начинается день.

У тюремщиков бравая военная выправка. Связка ключей в руках как маршальский жезл. Затылок выбрит, и на нем три жирные складки. Тюремщик не зол и не добр. В нем нет ненависти ни к нам, ни к уголовным. Он только исполнителен. Он изучил правила шнайдемюллъской тюрьмы. Он поставлен здесь для того, чтобы эти правила уважались и исполнялись.

В правилах сказано, что страж и заключенный в разговоры не вступают. Немец не нарушает этого правила.

Да и к чему нам это?

Добрые немцы основательно строили свою тюрьму — вряд ли мы сможем бежать отсюда.

Мы заняты одной мыслью: как дать знать о себе советскому представителю в Берлине?

Уголовные потеряли интерес к нам с тех пор, как узнали, что за кражу большевики не гладят по головке. И, пользуясь тем, что их много, они держат себя вызывающе. От скуки лезут в драку, и Петровскому требуется большая выдержка, чтобы не реагировать на их провокационные выходки.

Часто они выкидывают такой номер: один вслух говорит гадости об Исаченко (почему-то они его не

взлюбили), а остальные дружно поддерживают его, громко хохочут и извергают ругательства.

Петровский настораживается, как голодный волк, готовится к бою.

Я в таких случаях с трудом уговариваю Петровского уйти в наш угол.

...День заканчивается. В камере сумерки. Уголовные становятся на молитву.

Всюду одно и то же: в Калише, Стрелкове, Иновроцлаве и даже в Шнайдемюлле. Всюду молятся богу, испрашивая от него содействия и помощи.

Как выросли мы за эти суровые годы войны! В солдатских землянках не любят бога. Революция окончательно вышибла из нас последние остатки дурмана.

Сумерки сменяет ночь, тягостно длинная тюремная ночь... Тени от сторожевых фонарей на дворе, голоса перекликающихся часовых, бред соседей, зловещая тишина огромной тюрьмы...

Проходит неделя, другая. О нас забыли.

Сколько же времени это продолжится?

Мы не разговариваем друг с другом. О чем говорить?

Опять неприятность. Нас вызвали на допрос. Тем временем в камеру принесли для всех кофе. Уголовные справились заодно и с нашей порцией, съев также и хлеб, полагавшийся к кофе. Когда мы вернулись из тюремной канцелярии после допроса и обнаружили, что наш завтрак исчез, потребовали от них объяснений. Они двинулись на нас с кулаками. На шум прибежал солдат и набросился с бранью на Петровского. Петровский, придя в ярость, толкнул немца изо всех сил. Тот полетел в сторону, упал на пол, вскочил и дал тревожный сигнал. В камеру прибежал дежурный по тюрьме. Уголовные тут же засвидетельствовали, что Петровский первый набросился на немца,

и потребовали, чтобы нас убрали как хулиганов. Последовало распоряжение меня и Петровского рассадить по одиночкам.

Я в одиночке. Круглые сутки полумрак. Скупой свет просвечивается сверху из окошечка, загороженного решетками.

В первый день я метался по камере. Несколько раз поднимал неистовый крик, стучал в железную дверь, требовал вызова дежурного и своего освобождения.

Ничего не помогало.

Немцы были вежливы, аккуратны и исполнительны, а приказ гласил, что я должен пробыть в одиночке десять дней.

Десять мучительных дней...

Всю жизнь пережил сначала.

Очень тяготела разлука с товарищами. С ними легче переносил испытания.

Утром койка привинчивалась к стене до наступления ночи, и весь день я просиживал на маленьком стуле за таким же маленьким столиком, на котором помещались только локти.

Решил ночью отлеживаться на койке с тем, чтобы днем спать, сидя на стуле. Так будет легче.

Лежу и думаю о том, что делается в Советской России. Народ пришел в движение, во главе партии, во главе рабочего класса стоит человек, указывающий дорогу миллионам.

Я лежу на койке в маленькой тюремной клетке и вижу, как двигаются массы по необъятным равнинам моей страны, как к старым бойцам лавиной подходят новые, и мне не страшны ни тюрьма, ни часовой, ни одиночка.

Я засыпаю...

Проходит десять дней. Нас переводят в новую камеру. Мы понемногу успокаиваемся в надежде, что

в конце концов все образуется. Должны же принять какие-нибудь меры в отношении нас!

А время шло. Начался третий месяц нашего заключения.

— Эх, подло же вышло в конце концов! — заявляет Петровский.

— Кто же знал, что так случится, — отвечает Исаченко, чувствовавший себя виновным перед нами за то, что так красочно расписывал нам прелести житья-бытья в Германии.

Виноват ли он был в том, что германские социал-демократы оказались подстать офицерам императора Вильгельма?

Ни у кого из нас нехватало смелости бросить ему упрек в том, что он пытался создать обольстительную химеру.

Вскоре нам объявили, что дело наше будет заочно рассматривать специальная комиссия.

Мы забрасывали комиссию заявлениями с просьбами ускорить решение по нашему вопросу. Должно быть, мы изрядно надоели немцам. Чтобы раз навсегда от нас избавиться, комиссия решила отправить нас обратно в Польшу. В то время твердо установленных отношений Германии с Россией еще не было.

Комиссия не доверяла нашим показаниям и предпочла наиболее простой выход из положения.

Это было поистине Соломоново решение, но мы должны были подчиниться.

Предполагалось направить нас в пограничную польскую комендатуру, в город Тори.

Живо запомнился день, когда прибыли в комендатуру германской пограничной полиции.

Там мы решительно отказались следовать дальше и потребовали нового допроса.

К нашему счастью, в комендатуре оказался офицер, хорошо владевший русским языком. Он внима-

тельно выслушал нас, долго расспрашивал о приключениях с нами, осведомился о чинах наших в армии, спросил, что мы будем делать, когда нас вернут обратно в Советскую Россию.

Повидимому, наши объяснения его удовлетворили. Он приказал отправить нас обратно в тюрьму.

Это было, конечно, лучше, чем попасть в Польшу. В тот момент мы подумали о нашей тюремной камере даже с некоторым облегчением.

12. Домой

Проходит томительная неделя. Нам сообщают новое решение комиссии: нас отправят в Берлин в распоряжение нашего консульства. Мы теряем терпение. Даже Петровский нервничает.

Исаченко опять начинает хвалить немцев. На этот раз его оптимизм нас не заражает.

Мы объясняем Исаченко, что пора научиться сознательно относиться к событиям, но неисправимый оптимист готов обнимать тюремщика.

Он не понимает, что мы в плену у классового врага, который не склонен нам делать любезности без оснований, и что офицер, согласившийся не отправлять нас обратно в Польшу, руководствовался политическими соображениями.

Я принимаю от офицера кайзера его услугу, но цели, которые он преследует, чужды мне.

Я не буду бороться за социал-демократическую Германию с Антантой.

Я буду бороться за свой класс и раньше всего в своей стране.

Мир разделен на эксплоататоров и эксплоатируемых, а не на немцев, французов и поляков.

Наступает день, когда нас снова выводят из тюрьмы, отправляют на вокзал и усаживают в вагон с конвоиром.

Он имеет поручение передать в Берлине нашему консульству соответствующее отношение от шнайдемюллъской комендатуры.

— Не бросить ли нам этого дяденьку и как-нибудь без него в путь-дороженьку двинуться? Тут уже тракт прямой, никаких трудностей не представится в Берлине. Быстро отыщем советского консула, — говорит Исаченко.

— Пожалуй, оно так... — ответил Петровский.

Мы отлично понимали, что в случае новой беды, пожалуй, не удастся нам опять мобилизовать энергию и выдержку, необходимые для новых испытаний.

А вдруг в Берлине предстоит предварительно пройти через германскую полицию, и мы снова будем взяты под подозрение и вновь попадем в тюрьму...

Комиссия в Шнайдемюлле приговорила нас за переход границы без документов к аресту сроком на восемнадцать дней. Однако мы просидели три месяца и десять дней (вместе со сроком до вынесения приговора), то есть сто дней вместо восемнадцати.

Стали искать случая отделаться от неприятного спутника.

Примерно в тринадцати — пятнадцати километрах от Берлина наш поезд сделал остановку. Попросили у конвоира разрешения выйти напиться кофе. Тот согласился. Оставив конвоира в купе, мы затерялись в толпе и быстро пошли в противоположную от Берлина сторону. Отошли около полукилометра, улеглись на траве. Полежали, отдохнули и решили пешком направиться дальше.

Придя в город, подошли к первому встречному шуцману и стали его расспрашивать о том, где находится организация, ведающая делами русских военнопленных.

Он направил нас на Кирхенштрассе.

Помчались туда, но адрес оказался неверным.

Оттуда нам дали направление на Фридрихштрассе.

Трамваи, автобусы, тысячи автомобилей, лязг и грохот большого европейского города. Бесконечные шеренги людей в штатском, военном платье. Ровные улицы, блестящие витрины, шуцманы...

Одичавшие, мы носимся по Берлину, не интересуясь ничем. Мы заняты одной мыслью — поскорей найти консульство.

— Фридрихштрассе? — как попугаи, повторяем мы каждому шуцману.

Короткий жест рукой, быстрый взгляд, скользящий по нашим подозрительным фигурам, и шуцман уже занят своим делом, а мы мчимся дальше.

На Фридрихштрассе останавливаемся перед большим зданием. Швейцар на ломаном немецком языке спрашивает, откуда мы пришли.

Петровский и Исаченко замялись. Стоит ли сразу открываться? И швейцар и вестибюль стали внушать сомнение — мы уже никому не верили. Не похоже было на то, чтобы здание и люди, в нем живущие, имели отношение к Советской России: так подсказывала нам интуиция.

Во время затянувшихся переговоров со швейцаром по лестнице спустился какой-то человек. Прислушался и сейчас же опознал в нас русских. Видимо, сразу сообразил, в чем дело, так как отвел в сторону и тихо спросил, кто мы. Рассмеялся, услышав наши доверчивые объяснения, назвал дураками, сказал, что мы попали в испанское консульство, которое приняло на себя защиту интересов белогвардейцев. Объяснил, что нам следует обратиться в советское консульство, находящееся на Унтер ден Линден.

Успокоенные, двинулись туда.

Там очень любезно встретил нас какой-то молодой человек. На наш вопрос, где находится представитель Советской России, товарищ Кооп сообщил, что

представительство находится на другой улице, и дал точный адрес дома.

Путанице не предвиделось конца.

Пошли по новому адресу. Встретились в вестибюле с приветливой старушкой и от нее узнали, что мы наконец попали в русское бюро военнопленных. Но так как было уже семь часов, то бюро оказалось закрытым.

Старушка предложила зайти на следующий день утром. Сообразив, что нам некуда деться, она дала записку к своим друзьям.

Те встретили нас очень тепло, накормили, напоили.

На следующий день в советском консульстве нас приняли доверчиво и ласково.

Впервые за долгие восемнадцать месяцев мы почувствовали себя гражданами, за спиной которых стоит могучее пролетарское государство.

Надо было заготовить для нас документы, с которыми мы через несколько дней могли отправиться на родину.

В ожидании их мы слонялись по Берлину, не замечая его красот. Возвращаясь в консульство, тормошили товарищей, надоедая просьбами поскорее от нас избавиться.

На улицах немецкой столицы изредка встречали группы рабочих, возвращавшихся с фабрик.

Унылые, закопченные фигуры, бледные, малокровные лица... Братья, которые тоже лежали годами в вонючих окопах, чтобы обеспечить довольство владельцам блестящих особняков.

— Наших братьев предали их вожди. Штык, который они принесли из окопов, вырвал враг под личиной друга. Они сознают свою ошибку. Коммунистическая партия Германии, раздавленная, загнанная в подполье, приведет немецких рабочих под боевыми знаменами рабочих-спартаковцев к новым решающим

победам. Аристократические Унтер ден Линден еще увидят замасленные блузы Красной гвардии Берлина. Шляхетская Польша перестанет быть барьером между Советской Россией и Советской Германией. Мы еще вернемся сюда, — говорит убежденно Петровский, в десятый раз перечитывая долгожданные документы на право проезда в РСФСР.

Мы молча обмениваемся крепким рукопожатием.

. . . . . .

Наконец-то эшелон военнопленных сформирован.

Усаживаемся в вагоны.

Нас много.

Прежде чем попасть в эти вагоны, мы прошли суровую школу. Уцелели те, кто сумел сильно желать свободы.

Мы не будем бесполезным балластом в своей стране.

С поезда пересели на корабль.

На палубе группы. Бесстрастно рассказывают о прошлом; редко-редко у кого увлажнятся глаза.

Опять поезд.

В вагоне тесно.

Паровоз маленький, отапливается дровами. На остановках бегаем по вокзалу, прислушиваемся, нагоняем поезд уже на ходу.

Не хотим думать о прошлом. Ловим газетные строки. Страна оживает. Энтузиазм масс скоро переключится с военного фронта на трудовой.

Мы перебрасываемся короткими фразами с соседями и вновь жадно на маленьких полустанках ловим родную речь....

Перрон в Петрограде. Пережидаем, пока спадет волна пассажиров, хлынувшая с пригородного поезда.

Холодное петроградское утро.

Вереницей тянутся рабочие на фабрики.

Носильщики разгружают багажный вагон.

Люди трудятся, не замечая нас.

Наши руки соскучились по работе. Мы завоевали свое право на труд ценой невероятных страданий. Мы испытали пытки в лагерях «великой» Польши и каторжный режим в тюрьме «свободной» Германии.

Со скорбью вспоминаем товарищей, оставшихся в Стрелкове. Не обещаем мстить за них, — это сделают там, на месте, рабочие и крестьяне будущей свободной Польши, — но все же мы не можем говорить без проклятий об этом маленьком клочке земли, где наши товарищи, вероятно, нашли свой последний «приют».

Народ схлынул.

Выходим с вокзала в город и медленно шагаем по тихим в эту раннюю пору улицам.

Мы дома.

С.С.С.Р.
ИНСТИТУТ
К. Маркса и Ф. Энгельса
Ц. К. К.

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Иллюстрированная серия

Иван Батрак. Басни. Рисунки Б. Рыбченкова

Демьян Бедный. Восток. Рисунки Т. Мавриной

„ „ Москва. Рисунки Н. Кузьмина

Артем Веселый. Гуляй Волга. Рисунки Д. Дарана

Леонид Гроссман. Записки Д'Аршиака.
Рисунки Н. Кузьмина

Александр Жаров. Москва. Рисунки В. Милашевского

Максим Горький. Рассказы. Рисунки Д. Дарана

А. Новиков-Прибой. Бегство. Рисунки В. Милашевского

Александр Перегудов. Солнечный клад. Рис. Д. Дарана

С. Сергеев-Ценский. Мишель Лермонтов.
Рисунки Т. Мавриной

Москва, Ветошный ряд 11

Цена 3 руб.
Переплет 50 коп.

Московское Т-во Писателей
Москва Ветошный ряд 11